

АННА БЫКОВА

ВЫЯ

18+

Анна Быкова

Выя

«Автор»

2026

Быкова А.

Выя / А. Быкова — «Автор», 2026

Три исследователя едут на север Урала собирать то, что старики рассказывают только своим: заговоры, обереги, былички, в которых история всегда обрывается на одном и том же месте. Дорога ведёт их всё дальше от асфальта, и в последней деревне, куда не ходят машины, к ночи закрывают ставни. Все. Ещё до заката. Здесь не открывают дверь, как бы ни просили. Не откликаются на голос, даже самый родной. Не считают шаги за стеной. Правил немного, и объяснять их никто не берётся. Лидия приехала за темой для диссертации. Но в Вые у каждого находится то, что он привёз с собой, и то, что здесь давно ждало его самого.

© Быкова А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1	6
Глава 2	14
Глава 3	19
Глава 4	29
Глава 5	42
Глава 6	57
Гла	69
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Анна Быкова

Выя

Пролог

Манси — малочисленный финно-угорский народ в России, коренное население Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Устаревшее название — вогулы, вогуличи. Вместе с хантами их называют обскими уграми.

(Из дневника этнолога)

Он понял, что остался последним, когда перестал слышать чужие крики.

Они гасли там, позади, где ещё недавно мельтешили фонари. Первым оборвался женский голос, высокий и тонкий, как перетянутая струна. Потом хриплый мужской. И всё. Остались лес и собственное дыхание.

Он бежал. Просто бежал, не разбирая дороги, потому что думать было нечем. Фонарик давно погас, и темнота стояла такая, что хоть режь. Густая, сырая. Пахло болотом и хвоей. Ветки хлестали по лицу, мох уходил из-под ботинок, под ногами чавкало, и каждый вдох застревал в груди острым ножом.

Позади что-то ломало подлесок.

Далеко? Близко? Не понять. Шагов двадцать или пять. Для медведя оно было слишком тяжёлым. Для зверя слишком неспешным. Оно никуда не торопилось, и именно это пугало больше всего. Зачем спешить, если добыча всё равно никуда не денется?

«Не оглядывайся, не считай шагов...» Так ему говорили. А дальше? Что дальше?! Память, как назло, молчала.

И тут он понял, что считает. Сто двенадцать. Сто тринадцать. Сто четырнадцать...

— Проклятье! — вырвалось само.

Он оборвал счёт на полуслове, но было поздно. Шаги за спиной дрогнули, сбились... и выровнялись. Теперь они ступали вместе с его шагами. Левая, правая, левая. Он споткнулся, и позади тяжело, с влажным вздохом споткнулось что-то огромное.

Лес замер. Птицы смолкли разом, как смолкает комната, когда в неё входит чужой.

А потом его позвали.

По имени. Негромко, ласково, как зовут с крыльца к столу. Голос шёл не сзади, а откуда-то сбоку, из темноты между стволами, и был таким знакомым, что в груди что-то болезненно рвануло.

Он стиснул зубы до хруста. Слово уже подкатило к горлу, круглое, привычное. Он проглотил его. Как кость.

— Не уйдёшь, — мягко сказал голос.

Ну конечно, не уйдёт. Он и сам это знал...

Впереди была чернота. Ни огонька, ни просвета, ни одного окна там, где остались дома. Ни единой свечи на всём свете.

Он попытался прибавить шагу, но ноги уже не слушались. Левая, правая, левая... Ближе. Затылок обдало холодом, как из распахнутого погреба, и в нос ударил запах сырой земли. И ещё чего-то. Давно, очень давно мёртвого.

Он закричал. Тонко, жалко. И лес даже не отозвался эхом.

Что-то огромное навалилось сзади, и тьма сомкнулась над ним, как вода.

Глава 1

Лидия

Дорога на север Урала не едет. Она перебирается. С бревна на бревно, с ямы на яму, как человек, который идёт через ручей по камням и до смерти боится замочить ноги.

Мы выехали из Ивделя в семь утра. Асфальт кончился за последним посёлком. Потом кончилась грунтовка. А дальше пошла лежнёвка: настил из брёвен, которые лесовозчики уложили ещё в семидесятых и с тех пор ни разу не трогали. И правильно, наверное. Тронь одно, и рассыплется всё.

Старый УАЗ-«буханка» ложился на брёвна днищем, подпрыгивал и охал, как лошадь на мосту. В салоне звякали банки с тушёнкой, штативы и жестяные кружки. На заднем сиденье что-то глухо перекатывалось. Что именно, никто проверять не хотел. Печка работала, когда сама того желала, и тогда в машине пахло горячей резиной и хвоей.

— Если я ещё раз услышу слово «ухаб», — сказала Дана, не открывая глаз, — я выйду и пойду пешком.

— Это не ухаб, — отозвался Ярослав с переднего сиденья. — Это лежнёвка. Памятник дорожного строительства.

— Памятник моей пояснице!

Водитель хмыкнул и прибавил газу. Их выделили двое, молчаливых парней, вместе с машиной, в районной администрации, и за всю дорогу они сказали нам, дай бог, сотню слов на двоих. Зато дорогу знали так, будто родились на ней.

Я сидела у окна, прижимая рюкзак, и смотрела на лес. Ели вперемишку с пихтой, чёрные, мохнатые, в бородах лишайника. Кое-где кедры, огромные, как сторожа. Между стволами висели полосы тумана, и дорога ныряла в них, как в молоко. А над всем этим тянулась дальняя гряда, голая, цвета старого железа. На Урале такие горы называют просто: Камень. Без имени и без почтения. Видно, имя ему не нужно, он тут один такой.

— Лидия, ты опять пишешь, — сказала Дана.

— Я не пишу.

— Ты шевелишь губами. Это хуже.

Я улыбнулась и закрыла блокнот. Ну да, шевелю... Привычка.

Банки в багажнике звякнули особенно жалобно, и я вспомнила вчерашний вечер. Последний магазин в Ивделе назывался «Продукты 24» и работал, конечно, до восьми. Мы успели в семь пятьдесят две.

Дана метнулась к полке с тушёнкой и принялась сгребать банки в корзину, как белка орехи. Ярослав взял гречку, соль, спички и сухари. А я нашла в углу, за коробкой с мышеловками, пачку свечей. Обычных, парафиновых, в серой бумаге. И обрадовалась так, будто откопала клад.

— Берём, — сказала я. — Налобные фонари садятся, а свечка не подведёт.

Ярослав глянул на пачку и мягко, очень мягко вынул её у меня из рук.

— Не надо, Лидия. Пожар, копоть, руки заняты. Фонарей хватит, я запасные батарейки взял. — Он улыбнулся и поставил свечи на место, за мышеловки. — В избах печь и греет, и светит. Свечи там ни к чему.

Я пожала плечами. Он же опытный. Если говорит, что ни к чему, значит, ни к чему...

Продавищица, женщина с золотыми зубами и усталыми глазами, пробила наш товар и спросила, куда едем. Я сказала: по северным деревням. Она кивнула, ничего не ответила и вдруг сунула в пакет, сверх заказа, пачку крупной серой соли.

— Дорога дальняя, — сказала она. — Соль в дорогу.

Денег не взяла.

Два наших водителя ждали у машины. Один курил, второй проверял канистры. Когда я подошла с пакетом, тот, что с канистрами, глянул на соль и кивнул. Одобрил, видимо. Больше они не сказали ни слова, и я до сих пор не уверена, умеют ли эти двое говорить предложениями.

Лежнёвка тряхнула, и воспоминание рассыпалось вместе с банками.

К полудню настил кончился у реки. Моста там не было. Был паром из двух лодок, связанных брёвнами, и мужик в брезентовой куртке, который, кажется, спал на берегу ещё до сотворения Урала. Нас перевезли за полчаса и пачку сигарет.

На том берегу водители остановились размять ноги. Тот, что помоложе, достал из бардачка хлеб, отломил краюху, посолил из бумажного кулька и, не глядя, положил на старый пенёк у дороги. Пень был замшелый, в сухих крошках. Не первый хлеб ему достался.

— Это зачем? — спросила Дана.

Парень посмотрел на неё, потом на хлеб, потом на лес. Подбирал слова. И нашёл самые короткие:

— Так надо.

— Для кого?

— Для дороги.

Дана открыла рот и закрыла. Я достала блокнот и записала: «Хлеб на пень. Подношение хозяину пути?» Ярослав сидел на корточках у воды и даже не повернул головы. «Привык», — подумала я в который раз.

Мы поехали дальше. Хлеб остался лежать на пне, маленький и круглый, в тени большой ели.

Нас было трое, и каждый ехал на север за своим.

Моя тема в заявке звучала скучно, как все хорошие темы: «Представления о границе дома и леса в традиционной культуре северного Урала. Защитные практики». А если по-простому, то чем люди закрывались от того, что стоит за порогом. Полынь, ножи, красные нитки, молитвы. Слова, которые нельзя произносить вслух. Обереги я собирала, как другие собирают марки: упорно, азартно и без особой надежды объяснить, зачем.

Дана была антропологом и собирала людей. Рисовала родословные на обороте опростых листов, выясняла, кто кому зять и почему в семье не говорят про дядю Петра. И в итоге почти всегда оказывалось, что главное в деревне хранится не в обрядах. В обидах! «Родство — это память, — любила повторять она. — Покажи мне, кого они помнят, и я скажу, чего они боятся». Мы сдружились в университете. Делили палатки, общажную плитку, последние макароны... Я знала её лучше, чем многих родственников. Дана была самой пугливой из нас и потому самой смешливой. Шутила всегда, когда боялась. Попробуй такую не полюбить!

Ярослав был культурологом. Он читал знаки: орнаменты на наличниках, резьбу на коньках, узоры на домотканых полотенцах. Из трёх случайных завитков умел сложить целую историю. Старше нас на несколько лет, спокойный, уверенный, он держался как человек, который уже видел то, чего мы только ждали. И за всю дорогу ни разу не пожаловался. Ни на холод, ни на сон на полу.

«Привык», — думала я. Он вообще ко всему привыкал легко. Рядом с ним мне было спокойнее.

Был у меня и ещё один мотив, о котором в заявках не пишут. Бабушка по маме родилась на Северной Сосьве, в семье манси. В детстве я слышала от неё такое, что потом, в университете, нашла в монографиях под сухими названиями: «представления о нижнем мире», «запреты на называние». Сама бабушка называла это иначе. «Не зови, и не придёт», — говорила она и замолкала, стояло на кухне появиться чужому.

Её язык я так и не выучила. Эта нехватка сидела во мне, как больной зуб, который всё время хочется потрогать. Бабушка привела меня сперва на кафедру. Потом на эту дорогу.

Потом, когда всё закончилось, я много раз перебирала ту неделю, как чётки. Бусина за бусиной. Искала тот самый миг, когда можно было развернуться и уехать. И не находила. Никакого мига не было. Была дорога, по которой нас вели так мягко, что мы даже не заметили...

Первой была Черёмуховка.

Четырнадцать дворов, из них жилых шесть. И ни одной черёмухи!

— Вырубили, когда дорогу тянули, — объяснила Анисья Фёдоровна, встретив нас у калитки в тёплой кофте и шерстяных носках. Ей было восемьдесят три. Она оглядела рюкзаки, штативы, диктофон, вздохнула и махнула рукой: — Заходите, чего стоите. Самовар второй раз греть не стану.

Изба у неё была из тех, что я люблю больше всего на свете. Низкая, тёмная, пахнущая дымом, хлебом и сухими травами. Печь-голландка в углу, на столе клеёнка в выцветших вишнях, герани в консервных банках на подоконнике. А ещё шаньги, горячие, с картошкой и творогом, рыбник с румяной корочкой и чай с чагой в гранёных стаканах. Я влюбилась в эту избу с порога.

— Пиши, пиши, дочка, — говорила Анисья Фёдоровна, пока я возилась с диктофоном. — Пока я жива. Помру, никто и не вспомнит, как у нас что водилось.

Четыре часа мы просидели у неё. Она рассказывала про банника, который «шибко не любит, когда после третьего пару моются». Про домового, которого при переезде надо звать с собой, постелив у порога старый лапоть. Про лесного хозяина: здороваться с ним надо, а вот просить ничего нельзя. Рассказывала просто, без нагнетания, как говорят о соседях, с которыми давно живут рядом и не слишком ладят.

Дана рисовала родословную на обороте листа и то и дело переспрашивала:

— А это чей сын?

Ярослав сидел в углу с камерой. Снимал печь, наличники, красный угол, где вместо икон висели пучки сухой полыни и чертополоха. А чертополох, между прочим, висел и на окне. На каждом окне! Я записала это в блокнот.

— Это от нечистого, — сказала Анисья Фёдоровна, проследив мой взгляд. — Колкое оно. Нечисть не любит.

— А она разная бывает? — спросила Дана.

— Дак бывает. Которая в доме, которая в бане, которая в лесу. А которая внизу, та уж не про нас.

И замолчала. Будто сболтнула лишнего. Я открыла рот, чтобы спросить, но хозяйка уже поднялась ставить самовар.

Ближе к вечеру, за вторым чаем, она рассказала историю.

Я знала, как это называется. Быличка. Рассказчик сообщает, что с ним или с его знакомым приключилось нечто необъяснимое, и ничего особенного в жанре нет. Но Анисья Фёдоровна говорила так, что я забыла про диктофон.

— Был у нас Фёдор. Пошёл как-то за дровами, в зиму. Лес рядом, версты три. Идёт и слышит: мать зовёт. «Феденька», — зовёт. А мать у него шесть лет как померла. Он остановился. Постоял. И...

Она замолчала. Самовар шумел. За стеной скрипнула половица.

— И что? — шёпотом спросила Дана.

— Дак откликнулся, поди.

— А потом?

— А потом не рассказывают. — Анисья Фёдоровна поставила чашку на блюдце. — Ты, дочка, лучше пряник бери.

Мы больше не расспрашивали. Но ночью, на лавках в передней, я долго не могла уснуть. Анисья Фёдоровна затворила ставни ещё до заката, и в избе стало так глухо и тихо, как мне никогда не доводилось слышать. Ни собаки, ни ветра. Только в печи потрескивал уголёк.

Хотя... чего бояться? Обычная деревенская быличка. Таких я записала десятки.

Утром меня разбудил запах дыма. Анисья Фёдоровна уже затопила печь и стояла на крыльце в шерстяных носках, глядя на соседние крыши. Я вышла к ней с кружкой.

— Шесть, — тихо сказала она, ни к кому не обращаясь. — Все шесть.

— Чего шесть?

— Дымов. — Она кивнула на избы, над которыми поднимались тонкие серые столбики.

— Дак принято. Утром глянешь: у кого дым, тот живой. А у кого нет...

Она не договорила. Кашлянула в кулак и ушла в дом, поправляя на ходу платок.

Я посчитала сама. Шесть. Правда, все. И почему-то отпустило в груди, хотя почему, я объяснить не смогла. Зато вспомнила, что вчера вечером Анисья Фёдоровна не зажгла лампу. Печь топила, а лампу нет. Я тогда решила, что экономит.

Через два дня была Верхняя Гарь, и там нам не дали воды.

То есть воды-то дали. Только не из своей кружки.

Деревня была кержацкая, старообрядческая, и мы заранее знали, что чужих здесь не жалуют. Нас приняли в просторной избе из таких толстых брёвен, что даже в сентябре в ней держалась прохлада. Женщины в платках молча накрыли на стол. Мужчины сели вдоль стены и разглядывали нас без злобы, но так, как разглядывают чужую вещь, которую придётся хранить до отъезда хозяина.

Мне подали кружку. Старую, щербатую, с отбитой эмалью. Я не удивилась: у кержаков есть «мирская» посуда, для тех, кто из другого мира. Её держат на гвозде у двери, отдельно от своей, и после гостей моют отдельно. Читать о таком мне приходилось, а вот пить из такой кружки ещё нет. Вода была ледяная и пахла железом.

— Не обессудьте, — сказал седой широкоплечий старик во главе стола, с тяжёлыми руками. — У нас так заведено.

— Мы понимаем, — ответила я.

Он кивнул и больше ни о чём не спрашивал. Но когда Ярослав попросил разрешения снимать дома, старик разрешил. Всё, кроме людей. И только пока светло.

За ужином я решила попробовать метод Нины Павловны. Жаль было бы не воспользоваться, раз уж он работал даже на Дане.

— А как ваша матушка закрывала дом на ночь? — спросила я как можно мягче, глядя в миску.

Старик отложил ложку. Медленно, будто она весила пуд.

— Матушка моя говорила: что в домпустишь, то и хозяин. — Он помолчал. — Ешьте.

И всё. Больше ни слова. Он смотрел в стол, и желваки ходили под седой щетиной так, что я поняла: вопрос задан правильно, да только не на тот случай. Метод дал сбой. Или, наоборот, сработал слишком хорошо...

После ужина женщины унесли посуду на кухню, и я пошла за ними с кружкой. Не столько из вежливости, сколько из любопытства.

Мирскую посуду мыли отдельно. Молодая хозяйка, лет тридцати, в сером платке, налила в жестяной таз кипятка прямо из чугуна и опустила туда мою щербатую кружку. И зашептала. Быстро, неразборчиво, как скороговорку.

— Что вы говорите? — не удержалась я.

Она вздрогнула, будто я поймала её на воровстве.

— Ничего. Чтоб не прилипло.

— Что не прилипло?

— Чужое. — Она вытерла кружку и повесила на гвоздь у двери, лицом к стене. — Ты, милая, не обижайся. У нас не со зла.

— Я не обижаюсь.

Хотя немного обижалась, если честно. Так обращаются с заразной, а не с гостьей.

На подоконнике, рядом с пучком чертополоха, не стояло ничего: ни лампы, ни свечного огарка. Я огляделась. Ламп не было вообще. Только красный отсвет печи на потолке.

— А свет вы как же? — спросила я. — По вечерам?

— Печь да лучина. — Хозяйка пожала плечами. — Окнами света не жгём.

— Почему?

— Дак мы ж не одни тут, — сказала она просто и ушла с тазом в сени.

Я осталась стоять посреди кухни. «Не одни тут» могло значить что угодно. Соседей. Домового. Весь лес. Я достала блокнот и записала: «*Окнами света не жгут. Запрет на свет в окне?*» Потом решила, что это просто экономия, и вычеркнула вопросительный знак.

Зря.

Ярослав ходил по деревне почти час. Я нашла его уже на дальнем конце улицы, с блокнотом наперевес, а следом, ворча, что у неё замёрзли пальцы, подтянулась Дана. Он останавливался у каждого дома и подолгу смотрел на резные наличники и на коньки, деревянные головы лошадей на гребнях крыш.

— Смотри, — сказал он вдруг тихо. — Видишь?

— Что?

— У всех коньков нет глаз.

Я присмотрелась. И правда! Морды вырезаны тщательно, вплоть до зубчиков гривы. А там, где положено быть глазам, гладкое дерево.

— Обычно глаза вырезают, — сказал Ярослав. — Конёк должен смотреть и охранять дом. А тут слепой.

— Чтобы ничего не видел, — предположила Дана.

— Или чтобы не смотрел в ответ.

Сказал он это так спокойно, что я не придавала словам значения. Просто записала в блокнот: «*Слепые коньки. Запрет на взгляд?*»

Вечером, ещё до заката, в Верхней Гари закрылись ставни. Все. Разом. Мы стояли посреди улицы, а вокруг, как веки, опускались дощатые створки: хлоп, хлоп, хлоп, дом за домом. Скрежетали засовы. Ещё светило солнце, оранжевое, низкое, пробивалось сквозь ели, а деревня уже закрылась на ночь.

— Это от комаров? — шёпотом спросила Дана.

— В сентябре?

Старик стоял на крыльце и смотрел на нас.

— Темнеет скоро, — сказал он. — Ступайте в избу. По темну у нас чужие не ходят.

— Почему? — спросила я.

— Дак так. Ступайте.

Третьей остановкой был Лесной.

Раньше здесь стоял леспромхоз. Три тысячи человек, столовая, клуб, школа, вагончики, лесовозы, собственный магазин. Теперь осталось человек сорок, и те больше по привычке. Мы въехали вечером. Над пустырём торчал ржавый подъёмный кран, как скелет доисторического зверя, а в пустых окнах заброшенных общежитий гудел ветер. На одной ноте. Жутковато, честно говоря... Зато над единственной жилой пятиэтажкой тянулся дымок, жалкий и упрямый, и мне ужасно захотелось подойти и погладить дом по стене. Вот ведь глупость!

Нас пустили переночевать в бывшую школу, в бывший класс с железной кроватью и запахом мела. Там мы и познакомились с Тamarой Ивановной. Ей было шестьдесят восемь, она пре-

подавала литературу и вышла на пенсию. Остальные разъехались, а она осталась и теперь вела «краеведческий кружок» из одного-единственного ученика, двенадцатилетнего мальчишки, который приходил по субботам. А ещё у неё была толстая тетрадь в клеёночной обложке с записями деревенских историй. Узнав, кто мы такие, Тамара Ивановна отдала её нам на ночь.

— Вы читайте, читайте, — сказала она. — Я там всё записывала, что слышала. Не знаю, надо ли оно кому.

Читали мы втроем до полуночи, сидя на полу в свете налобных фонарей. Дана сыпала вопросами и дополняла схемы родства. Ярослав молча что-то выписывал в блокнот. А я читала и чувствовала странное, ползучее ощущение: нашла не то, что искала. Вернее, нашла именно то, только не там, где ждала.

Историй в тетради было полтора десятка. И в каждой, ну точь-в-точь как у Анисьи Фёдоровны, рассказ обрывался в одном и том же месте. Человека зовут голосом, которого быть не должно. Он останавливается. Слушает. Дальше пустая строка и приписка Тамары Ивановны: «Дальше не рассказали».

Вот три, на которых я споткнулась. Переписываю дословно, как в тетради.

Со слов Прасковьи Ивановны. Муж её, Степан, ушёл на охоту и не вернулся. Она три ночи держала лампу на окне, чтобы он видел дорогу. На четвёртую слышит: стучат. «Паша, открой, это я». Голос его, и сапогами скребёт по крыльцу. Она подошла к двери, взялась за засов. Спросила: «Степа, ты?» Дальше не рассказали.

Со слов Тимофеича. Внук его, Колька, пошёл за коровой на дальний луг. Слышит: бабка кличет с опушки. А бабка уж два года как в земле. Колька сказал: «Бабуль, это ты?» Дальше не рассказали. Только наутро над их избой не было дыма, и ходили смотреть всем краем.

Со слов Захаровой. Была у нас сестра младшая, Верка. Зимой, ночью, встала воды попить. А с крыльца зовут: «Верочка, выйди, посмотри, что я тебе принесла». Голос мамин. Мамы с осени нет. Верка подошла к окну. Дальше не рассказали. Окно потом долго не мыли, и свечей в нём не ставили.

Я читала их вслух, и чем дальше, тем тише становился голос. Сюжеты были разные. А кончалось одинаково: человек откликнулся. После чего Тамара Ивановна ставила пустую строку.

— Обрыв после отклика, — сказала я вслух. — Все истории обрываются после отклика!

— Это фигура умолчания, — отозвалась Дана. — Ну чего ты так смотришь? Рассказчик просто не хочет накликать.

— Но почему всегда в одном месте?

Дана пожала плечами. Ярослав не поднял глаз от блокнота.

Утром Тамара Ивановна вышла проводить нас на крыльцо. Долго смотрела, как мы грузим рюкзаки в УАЗ, а потом спросила:

— Далеко ли дальше?

— В Усть-Пору, — ответил Ярослав. — А оттуда, наверное, ещё дальше.

— До Выи, что ли?

Слова повисли в холодном воздухе. Ярослав кивнул, не меняясь в лице.

— Выя... — повторила Тамара Ивановна. — Слово-то какое. По-старому «шея». Говорят, там что-то держат за горло. А я думаю, наоборот: держат тех, кто туда приходит.

— Это фольклорная этимология? — улыбнулась Дана, пытаясь пошутить.

— Это я так думаю, — серьёзно сказала Тамара Ивановна. — Вы не ночуйте там, ребятки. Если уж едете. Приехали, посмотрели, уехали. Не ночуйте.

Потом она задержала взгляд на Ярославе. Нахмурилась, будто пыталась вспомнить, где видела это лицо... и не смогла. Отвернулась. Я заметила это краем глаза. Ярослав либо не заметил, либо сделал вид.

— Спасибо, Тамара Ивановна, — сказал он. — Мы будем осторожны.

Усть-Пора оказалась последней большой деревней на маршруте. Дальше шли только заимки да старые зимовья, и добираться до них приходилось пешком.

Нас поселили в гостевом доме при сельской администрации. Староста, Пётр Семёнович, круглолицый добродушный мужик в клетчатой фланелевой рубаше, устроил в нашу честь ужин. Пельмени с лосятиной! Солёные грузди, брусничный морс, горячий хлеб. За длинным столом сидело человек пятнадцать, и впервые за неделю в избе было шумно, тепло и даже душно. Дана, раскрасневшаяся, рассказывала старухам про диссертацию. Ярослав обсуждал с двумя бородатыми охотниками, как пересекать топи. Я записывала прямо на салфетках.

Охотники, один рыжий, другой седой, с серьгой в ухе, про топи рассказывали со вкусом.

— Рямы там по весне вспухают, — говорил седой, чертя пальцем по скатерти. — А по осени оседают. Лежнёвка где держит, где нет. Где провал, там обходи по гриве.

— А согра? — спросил Ярослав.

— Согру обойдёшь, если знаешь где. Идёшь след в след. — Охотник усмехнулся в бороду. — Главное, чтоб не потеряться. Там, говорят, и не такие терялись.

Рыжий хмыкнул и украдкой перекрестился под столом. Я заметила и записала на салфетке: *«Перекрестился, когда заговорили про потерявшихся»*.

Когда пельмени закончились, а самовар допили, я спросила у Петра Семёновича про дорогу в Выю.

Разговоры не оборвались сразу. Они стихали постепенно, как гаснут лампы в доме, когда кто-то выходит из комнаты: сначала у дальнего края стола, потом ближе. Пока не стало слышно, как потрескивает печь.

— В Выю? — переспросил староста. Улыбка не ушла с его лица, но стала какой-то натянутой. — А вам туда зачем?

— Это последняя точка нашего маршрута, — сказал Ярослав. — Мы изучаем традиции северных деревень. Говорят, в Вые они сохранились лучше всего.

— Сохранились, это да, — медленно сказал Пётр Семёнович. — Только вот что скажу, гости дорогие. До Выи далеко, а дорога там не ваша, не машинная. Либо с проводником, либо никак.

— Вы можете кого-то порекомендовать? — спросил Ярослав.

Староста потёр подбородок.

— Ермолай. Охотник наш. Он в тех краях бывал. Утром придёт, поговорите.

— Он согласится? — спросила я.

Пётр Семёнович усмехнулся одним ртом.

— Ермолай-то? Согласится. Он, милая, всегда соглашается, когда в Выю.

Не знаю, что в его голосе заставило меня внутренне вздрогнуть. Но ужин после этого доедали молча, как будто мы были на поминках.

Когда нас вели из столовой в гостевой дом, я заметила одну вещь. В Усть-Поре горели окна. В каждой избе, и по-разному: жёлтые, бледные, голубые от телевизора. Мне стало легче. Давно я так искренне не радовалась электричеству.

— Последний свет цивилизации, — сказала Дана, и мы засмеялись. Тихо, чтобы не разбудить деревню.

Ярослав смеяться не стал. Он смотрел на окна и, кажется, считал их.

Ночью я сидела на подоконнике с блокнотом. Дана спала, закутавшись в спальник с головой. Ярослав на соседней лавке тоже давно отключился, подложив под голову свёрнутую куртку, и сопел так мирно и по-хозяйски, что мне стало завидно. Мне бы так!

Я открыла чистую страницу и написала:

Из моего дневника

Заметка на полях: в традиционных культурах существует «запрет на называние». Опасное существо не называют прямо, чтобы оно не явилось. Его называют «тот», «он», «хозяин», «дедушка». У манси существовали строгие запреты и на упоминание имени умершего соплеменника в определённых ситуациях, особенно во время траура. Вместо слова ставят пустое место. Считалось, что это может вызвать его дух и навлечь беду на весь род.

Я погасила фонарик и ещё немного посидела в темноте. За окном стояла такая густая чернота, что я не сразу разглядела собственное отражение в стекле. А когда разглядела, мне показалось, что у меня за плечом кто-то стоит.

Я обернулась. Это был Данин рюкзак, поставленный на скамью у стены.

Фух! Я усмехнулась и легла.

Но уснула не сразу.

Глава 2

Лидия

Дана спала так, как она делала всё в жизни: целиком, без остатка и слегка назло.

Спальник был натянут на неё с головой, и наружу торчали только кончик носа и прядь рыжеватых волос, которые к утру всегда превращались в произведение современного искусства. Она посапывала на два тона: вдох повыше, выдох пониже. Лет девять назад меня это сводило с ума. Теперь, сидя на подоконнике в чужом гостевом доме, в котором пахло пельменями и мышами, я слушала этот звук и думала, что это единственное, что в этом мире пока не изменилось.

Староста Пётр Семёнович сказал: «Дорога там не ваша». А я смотрела на Дану и вспоминала, как всё началось с фикуса.

Это было в сентябре, на четвёртом курсе, и я о нём не хочу вспоминать, но всё равно помню каждый день.

Летом, после последнего экзамена, умерла бабушка. Я писала об этом отдельно. Здесь важно только одно: к сентябрю у меня в комнате на четвёртом этаже четвёртого корпуса, номер 412, было две кровати, один стол, один шкаф с отломанной дверцей и ровно ноль желания разговаривать с людьми.

Соседка, пятикурсница Оля, которая на третьем курсе пускала меня к себе спать, когда в моей комнате отключили отопление, к осени выскочила замуж и переехала к мужу. Вторая кровать осталась пустой. Я отнеслась к этому как к знаку свыше: комната моя, тишина моя, телефон на столе лежит экраном вверх, и никто не спросит, почему.

Дана появилась в понедельник, в половине седьмого вечера, и сначала я услышала её.

Услышала в коридоре, за три двери: звонкий, быстрый, слегка охрипший голос, который кому-то объяснял, что чемодан не «тяжёлый», а «насыщенный», и что если сейчас никто не поможет, она выбросит из него то, что весит больше, а это будет Аркадий Петрович.

— Кто такой Аркадий Петрович? — спросил басом чей-то голос.

— Мой фикус.

Дверь распахнулась без стука.

На пороге стояла девчонка ростом мне по плечо, в огромной клетчатой рубашке не по размеру, с двумя чемоданами, рюкзаком, коробкой, перевязанной бельевой верёвкой, и горшком, из которого, как перископ подводной лодки, торчал тощий, облезлый, но принципиально зелёный ствол с тремя листьями. Волосы у неё были белоснежные, с мелким, упрямым завитком. Глаза карие, круглые, любопытные, как у белки, которая знает, что орех ваш, но готова обсуждать.

— Привет, — сказала она. — Я Дана. Мне сказали, что у тебя свободная кровать. Если свободная, то я на ней. Если несвободная, то я всё равно на ней, но буду чувствовать себя неловко.

Я смотрела на неё, не двигаясь.

— Это Аркадий Петрович, — продолжила Дана, приподняв горшок. — Он ничего не просит, кроме окна. Окно здесь есть? Есть. Отлично. Мы поладим.

— Я... — начала я.

— Ты Лидия. Я знаю. Мне про тебя сказали. «Тихая, умная, не мешает». — Она поставила горшок на подоконник, повернула листом к свету и обернулась. — Я мешаю. Предупреждаю сразу, чтобы не было претензий. Я шумная, любопытная, ем по ночам, разговариваю во сне и считаю, что чайник нужно кипятить минимум четыре раза в день. Но я не обидчивая. Если что, говори прямо. Я не обижусь. Я поору в подушку и забуду.

Я хотела ответить, что мне не нужна соседка. Что у меня в комнате тихо, как в храме, и мне это нужно, как воздух. Но она уже стояла посреди комнаты, шурилась на стены, и я вдруг поняла, что вот этот взгляд, быстрый, цепкий, внимательный, я знаю. Это взгляд человека, который в первый день в чужой деревне обходит её по кругу.

— Ты на этнологии? — спросила я, сама удивившись, что заговорила.

— На антропологии. Первый курс. Ты на третьем?

— На четвёртом.

— Значит, ты старшая. — Она торжественно кивнула. — Я буду тебя слушаться. Недолго. Пока не надоест. — Она улыбнулась так открыто, что у меня против воли дёрнулся уголок рта.

— А почему антропология?

— Потому что у меня шесть двоюродных Саш. — Дана плюхнулась на кровать, подняла ногу в красном носке. — Серьёзно. Шесть. И три Светы, две Нины и дядя Коля, который не дядя, а двоюродный дед, но все зовут его дядей, потому что дедом он обижается. И каждый раз на свадьбе кто-то спрашивает: «А это кто?» А я не знаю. И никто не знает. Все знают только «наши». Я как-то на двоюродной сестре Свете спросила, кем она мне приходится, и мне полчаса объясняли, пока не поссорились. Тогда я поняла: надо разобраться. Нарисовать дерево. Понять, откуда мы вообще взялись.

— И получилось?

— Нарисовала. Вышло не дерево, а паутина. С тех пор сижу в ней и ловлю родственников. Я рассмеялась.

Это был первый раз за три месяца. Звук вышел сиплый, чужой, как скрип несмазанной двери. Дана замолчала, чуть склонив голову набок, и посмотрела на меня странно: без жалости, без любопытства. Просто с интересом, как смотрят на редкую птицу, которая вдруг села на подоконник.

— О, — сказала она. — Работает.

— Что?

— Смеяться умеешь. Мне говорили, что нет.

— Кто говорил?

— Все. — Она пожала плечами. — Я спрашивала у вахтёрши, у коменданта, у девчонок в коридоре. Все говорят: «Лидия у нас хорошая, но замороженная». А ты оказывается не замороженная. Просто... тихая.

Я не нашлась, что сказать.

Она вскочила, начала разбирать коробку, раскладывать по полкам книги, кружки, свитера, пакетики с чем-то, пахнущим ромашкой. Говорила непрерывно: про Тагил, про маму, которая «пирожки в дорогу завернула, как будто я на Северный полюс еду», про вахтёршу, которая «вся такая суровая, но у неё усы, и я это уважаю». Голос её заполнял комнату, как тёплая вода заполняет ванну, и я, сидевшая на своей кровати у окна, вдруг поймала себя на том, что не хочу, чтобы она замолкала.

Это было странное чувство. Как будто в доме, где давно не топили, открыли дверь, и в неё вошёл человек со свёртком горячих пирожков.

Первый ужин у нас был катастрофой.

Дана объявила, что она «безнадёжно голодная» и «готовит исключительно для души», достала из коробки кастрюлю с погнутой ручкой, пачку макарон, банку тушёнки и электроплитку, которую нельзя было включать по правилам общежития, но «Лидия, ну кто тебя сдаст?»

— Никто, — сказала я.

— Вот. — Она воткнула вилку в розетку. — Я знала, что мы поладим.

Макароны она варила так, как делала всё остальное: на скорости и с комментариями. Сыпала соль «на глаз», кричала, что вода «обидно медленная», выбегала в коридор за солью, возвращалась без соли, но с рассказом про соседей, которые «ночью разговаривали на санскрите», потом вспомнила про тушёнку, открыла её консервным ножом, который оказался тупее, чем её терпение, и ругалась на него вполголоса очень красиво и без единого матерного слова.

Через пятнадцать минут комната наполнилась запахом гари.

— Ой, — сказала Дана.

Она стояла над плиткой, держа в руке половник, и смотрела в кастрюлю, где на дне образовалась чёрная корка, а сверху плавали клочья чего-то серого и растерянного.

— Это... — начала она.

— Подгорело, — сказала я.

— Не подгорело. Это... карамелизировалось.

— Дана.

— Ну хорошо, подгорело. — Она вздохнула и вдруг рассмеялась, звонко, заливисто, так, что из кастрюли поднялся дымок. — Господи, ну я идиотка. Всё. Первый день, а уже уничтожила кухню. Ты меня теперь выгонишь.

— Не выгоню.

— Выгонишь. Я бы выгнала.

Я встала, подошла к плитке, выключила её. Взяла ложку. Попробовала с краю, там, где корка была потоньше.

Было ужасно. Горько, плотно, с привкусом жжёной резины и почему-то лука, которого там не было.

— Вкусно, — сказала я.

Дана посмотрела на меня. Потом на ложку. Потом на кастрюлю.

— Врёшь, — сказала она с восхищением.

— Вру.

— Ты мне нравишься.

Мы съели всё. Сидели на полу, потому что стол был завален её книгами, ели прямо из кастрюли двумя ложками, и она рассказывала мне про свою первую любовь, которая звали Витя, играл на трубе и бросил её ради «девушки с пирсингом в брови». «Я до сих пор думаю, что пирсинг был решающим аргументом. Глупо. Но обидно».

Я слушала. Смеялась. Один раз даже расхохоталась, чего со мной не было с июня, и это был совсем другой смех, не сиплый, а настоящий, с придыханием, со слезами.

А потом, когда она, раскрасневшаяся, сыто откинулась на подушку, я заметила, что она смотрит на мой стол.

На нём, на самом краю, рядом с кружкой и чёрной шариковой ручкой, лежал мой телефон. Экраном вверх.

Дана ничего не сказала. Просто посмотрела, чуть склонив голову, и перевела взгляд на меня. Я видела, что она всё поняла: не причину, нет, но суть. Что телефон тут не просто телефон.

Она никогда не спросила. Ни в тот вечер, ни потом. Только на следующий день, когда мы вместе шли в университет, она остановилась у киоска и купила шоколадку с фундуком, большую, с красной обёрткой, и сунула мне в карман куртки.

— Зачем?

— На всякий случай, — сказала Дана. — Мало ли.

Я так и не поняла, что это за «мало ли». Но шоколадку не съела. Носила неделю. Потом вдруг, в одну из серых октябрьских ночей, когда нельзя было спать, нельзя было думать, нельзя было ничего, достала её, развернула и съела, лёжа в темноте, медленно, по квадратику.

С тех пор в Даниной сумке всегда лежала шоколадка с орехами. Она называла это «аварийным запасом», а потом, когда я однажды спросила, на какой случай, ответила, не глядя на меня:

— На случай, если Лидка заплачет. Кормить.

Это случилось в первую же неделю.

Я проснулась оттого, что что-то гудело. Не будильник, не холодильник, не трубы. Тонкий, настойчивый, механический звук, знакомый до боли. Телефон.

Он вибрировал на столе, подпрыгивая, ползя к краю, и экран светился в темноте синим пятном. Я села на кровати, сердце колотилось так, что отдавало в висках. Три часа ночи. Номер незнакомый.

Я протянула руку.

И не смогла.

Это было странное, жуткое чувство: я знала, что нужно взять трубку. Знала всей собой, всеми этими месяцами. Что если не возьму, опять опоздаю. Но рука не поднималась. Вместо этого меня прошибло холодом: а вдруг это она. Вдруг это оттуда. Вдруг больница, вдруг мама, вдруг что-то случилось, и если я возьму, то услышу то, чего не хочу слышать. А если не возьму, то ничего ещё не случилось.

Телефон гудел.

— Алё, — сказал сонный, хриплый голос с соседней кровати.

Я замерла.

Дана сидела на своей кровати, взъерошенная, в огромной футболке с надписью «Тагил: город, который работает», с телефоном у уха, моим телефоном, который она дотянула с моего стола. Глаза у неё были закрыты. Она не проснулась до конца.

— Слушаю вас, — сказала Дана в трубку. — Нет, это не Лёха. Нет. Лёха здесь не живёт. Нет, я не могу его позвать, я не знаю, кто такой Лёха. Да, я понимаю, что вы нервничаете. Да. Нет. Вы ошиблись номером. Цифры у вас, видимо, танцуют.

Она замолчала, слушая.

— Если хотите, — сказала она, — могу изобразить Лёху. Я неплохо умею. Что ему надо сказать? «Иду, братан, жди»? Или «не звони мне больше, я женат»?

Из трубки донёсся отдалённый, пьяный, виноватый хохот. Дана зевнула.

— Вот и славно. Ложитесь спать. Завтра будет легче. Да, и вам доброй ночи.

Она нажала отбой, положила телефон на тумбочку между кроватями, повернулась на бок и сказала в темноту, уже засыпая:

— Дурак какой-то. Лёху ищет.

Я сидела, прижав ладонь к груди. Сердце прыгало.

— Ты взяла трубку, — сказала я.

— Угу.

— Но это же... это мой...

— Если в три ночи звонят, — пробормотала Дана в подушку, — значит, что-то случилось. Или кто-то дурак. В обоих случаях надо ответить. Потому что если не ответить, потом будешь думать.

Я молчала. По щекам у меня текли слёзы, горячие, неостановимые, и я даже не пыталась их вытирать.

— Лид, — сказала Дана сонно.

— Что?

— Ты не одна. Я здесь. Если что, я возьму. Можешь не брать.

Это было так просто и так неожиданно, что я не нашлась, что ответить. Только, плача, смотрела в потолок и слушала, как она засыпает, посапывая на два тона: вдох повыше, выдох пониже.

Утром, когда я открыла глаза, на столе, рядом с телефоном, лежала записка. Вырванный из тетради листок, неровным детским почерком:

Если что, я возьму. Д.

И маленький кривой смайлик, нарисованный шариковой ручкой.

Я сохранила эту записку. Лежит у меня до сих пор, в блокноте, между страницами, где я пишу заметки на полях.

Заметки на полях

Они у меня появились раньше, чем всё остальное.

Я не помню, когда это началось: наверное, ещё в детстве, на бабушкиной кухне, когда она вышивала. Она сидела на низкой табуретке, натягивала на пальцы кусок холстины и рисовала на нём карандашом узор: ромбы, зигзаги, лапки, ёлочки. А я, лет пяти, лежала животом на полу, подперев голову, и копировала их на обороте старой газеты. На полях. Потому что на основном тексте, там, где были статьи про пятилетку и надои, рисовать было жалко. А поля были ничьи.

Я так и осталась рисовать на полях.

Конспекты у меня выглядели странно: в середине страницы аккуратный текст, а вокруг, по краям, узоры. Орнаменты, крошечные фигурки, лица, рисунки по ходу лекции, которые я сама не замечала, пока не возвращалась к записям. Профессор Рейн, заведующая кафедрой этнологии, строгая, сухая женщина в круглых очках с вечным чаем в железной кружке, однажды остановила меня после лекции и взяла мой конспект.

Долго листала. Я стояла, не дыша.

— Вы рисуете, пока слушаете, — сказала она.

— Простите.

— За что? — Она подняла на меня глаза. — Это единственный способ слушать. Те, кто просто записывает, слышат слова. Те, кто рисует, слышат то, что за ними.

Она вернула мне тетрадь.

— Не бросайте, — сказала она. — Когда-нибудь это вам пригодится.

Я тогда не поняла, что она имела в виду.

Дана, которая в тот год жила со мной в одной комнате, первое время считала мои тетради «вместилищем хаоса». Она листала их по вечерам, лёжа на животе, и возмущалась:

— Лид, где у тебя основной текст?

— Вот.

— Это же посередине. А вокруг что?

— Заметки.

— На полях?

— На полях.

— А не проще писать нормально?

— Не проще.

— Ну ладно. — Она переворачивала страницу. — Тогда я буду называть тебя «Заметка на полях». Ты вся такая: тихая, с краю, а всё самое интересное у тебя там.

Это прозвище так и не прижилось. Но однажды, много лет спустя, когда я начала вести дневник, я вдруг поймала себя на том, что озаглавила последнюю запись именно так.

Глава 3

Лидия

Проводник пришёл утром.

Мы ждали его на крыльце гостевого дома, допивая чай из жестяных кружек. Ночь выдалась холодной: на перилах серебрился иней, а над улицей висел туман, в котором соседние дома проступали не сразу. Сначала крыша, потом тёмный прямоугольник окна, потом крыльцо. Будто кто-то медленно проявлял старую фотографию.

Человек остановился у калитки и посмотрел на нас.

Невысокий, жилистый, с лицом, похожим на старый древесный корень. Кожа тёмная, исчерченная глубокими морщинами, седая щетина на подбородке. Светлые глаза смотрели внимательно и как-то недружелюбно, хотя ничего откровенно враждебного в его выражении не было. За плечом висела старая вертикалка в брезентовом чехле, на спине — потёртый вещмешок. У ног сидела рыжая лайка с белой грудью.

— Вы, стало быть, учёные? — спросил он.

— Мы, — ответил Ярослав, спускаясь с крыльца. — Ярослав. Это Лидия и Дана.

— Ермолай.

Он пожал Ярославу руку, потом перевёл взгляд на нас.

— Девки-то тоже пойдут?

— Мы вместе приехали, — сказала я.

— Дак ладно.

Ермолай поправил ремень вещмешка. Судя по всему, присутствие двух женщин его не удивило, но и особой радости не вызвало.

— Только уговор. Идём в мой след, шаг в шаг. Что скажу, то делаете, без спору. Скажу назад повернуть — значит, назад. И не ругаться.

— Даже если причина покажется нам недостаточно убедительной? — уточнил Ярослав.

Ермолай посмотрел на него.

— Особенно тогда.

Ярослав чуть приподнял брови. Дана перестала греть ладони о кружку.

— А если мы захотим узнать, почему? — спросила я.

— Узнаете, когда можно будет. А когда нельзя, не узнаете.

Он сказал это совершенно спокойно, будто речь шла о правилах перехода через дорогу.

Я посмотрела на Дану. Та беззвучно шевельнула губами: «Началось».

Я едва заметно улыбнулась.

— Хорошо, — сказала я. — Мы согласны.

— Вот и ладно.

Ермолай развернулся и пошёл к машине. Лайка потрусил за ним, иногда оглядываясь на нас. Вблизи собака оказалась крупнее, чем мне показалось сначала, с густой рыжей шерстью и умными, чуть раскосыми глазами.

— Как её зовут? — спросила Дана, когда мы подошли к «буханке».

— Найда.

Дана протянула руку, чтобы погладить собаку по спине. Найда тут же отступила.

— Найда, — повторила Дана примирительно. — Я вообще-то с добром.

— Не любит она, когда по спине гладят, — сказал Ермолай, забираясь на переднее сиденье.

— Почему?

— Дак не любит.

Дана посмотрела на меня.

— У меня уже есть список вопросов, которые я больше не буду задавать.

— Очень короткий список, — заметил Ярослав.

— Пока.

Мы погрузились в машину. В тесном салоне сразу запахло псиной, табаком и оружейным маслом. Найда устроилась возле Даны, немного повертелась и, поколебавшись для приличия, положила ей голову на колени.

— А вот так можно, — обрадовалась Дана.

— Пока можно, — отозвался Ермолай.

Я решила, что не стану выяснять, что именно он имеет в виду.

— А чо вам там, ребятки? — спросил проводник уже мягче. — В Вые-то?

Я убрала кружку в рюкзак и достала блокнот.

— Хотим записать то, что там помнят. Предания, обряды. Как жили, во что верили.

— Дак помнят. Помнят, и ещё как помнят. Только рассказывать не любят.

— Почему?

Он посмотрел на меня, потом на блокнот в моих руках.

— А ты сама всем подряд про своё рассказываешь?

— Не всем.

— Вот и они не всем.

На этом разговор закончился.

Машина тронулась, и вскоре последние дома посёлка скрылись за поворотом. Мы выехали на лежнёвку — дорогу, выложенную брёвнами, — и началась тряска. Под колёсами гулло стучало, салон подбрасывало на каждой выбоине, а за окнами тянулся лес.

Первые полчаса Дана ещё пыталась поддерживать разговор. Она расспрашивала Ермолая о деревне, о том, сколько там осталось жителей, есть ли среди них старики, которые помнят старые обычаи. Он отвечал коротко, иногда одним словом. На вопросы о дороге реагировал охотнее, на вопросы о Вые — заметно хуже.

— А сколько мы будем идти пешком? — спросила я.

— Смотря как пойдёте.

— Это сколько?

— Дак до темна надо успеть.

Я посмотрела на часы. Успеть куда именно, он не уточнил.

Дана прижалась виском к холодному стеклу.

— Лид, если я умру, пожалуйста, не давай кафедре использовать мои записи без разрешения.

— Постараюсь.

— И скажи, что я была хорошим человеком.

— Это будет зависеть от того, сколько ещё продлится поездка.

Ярослав тихо засмеялся. Дана показала мне язык и закрыла глаза.

Через два часа дорога кончилась.

Не оборвалась резко, не упёрлась в стену леса. Она как будто постепенно рассосалась: колеи становились уже, настил уходил под чёрную воду, брёвна попадались всё реже. Наконец перед капотом остались только мох и ели.

Водитель остановил машину.

— Дальше нельзя, — сказал он.

— Совсем? — спросила Дана, хотя ответ был очевиден.

Старший из водителей, не глуша мотор, помотал головой.

— Мы через четыре дня, в это же время. Здесь же будем.

— А если не успеем? — спросила я.

Он пожал плечами.

— Успеете.

Они уехали быстро, будто боялись, что земля под колёсами передумает. Мы стояли на краю последней колеи и слушали, как рёв мотора стихает вдали.

Когда звук окончательно пропал, я вдруг почувствовала, насколько тихо вокруг.

Не просто тихо — непривычно. В городе даже ночью что-нибудь да слышно: машины, голоса, гудение проводов. Здесь тишина не была отсутствием звуков. Она казалась чем-то отдельным, существующим сама по себе.

Я поправила лямки рюкзака.

— Ну, — сказал Ермолай. — Пошли, пока светло.

И мы пошли.

В первый час мы ещё болтали.

Лес стоял ровный, высокий, мшистый — тот самый ельник-зеленомошник, о котором пишут в учебниках: серые стволы в лишайнике, густая тень, ковёр мха по колено. Мох был упругий и мокрый, как губка, и каждый шаг оставлял в нём след, который через секунду заплывал водой. Пахло смолой, грибами и холодом. Воздух был таким чистым, что от него першило в горле, а на выдохе стелился пар.

Конец сентября. Ночью, как сказал Ермолай, уже брало морозом, и на мху по утрам белел иней.

Мы шли гуськом: впереди Ермолай, за ним Ярослав, потом я, потом Дана. Найда бежала то впереди, то сбоку и каждые несколько минут возвращалась проверить, не потерялся ли кто-нибудь из нашей процессии.

Пока что никто не потерялся. Хотя Дана, кажется, уже рассматривала такую возможность.

Ермолай двигался не торопясь, но без остановок. Тем лёгким, чуть раскачивающимся шагом, каким ходят люди, прожившие в лесу всю жизнь. Тропы не было. Вернее, для меня её не было. Ермолай ориентировался по старым затёсам — зарубкам на стволах, почерневшим и затянутым смолой. Он находил их безошибочно, даже не оглядываясь по сторонам.

— Кто их сделал? — спросила я.

— Дак кто ходил.

— А давно?

— Давно.

Я подождала, надеясь, что он продолжит.

Не продолжил.

Записала в блокноте: «Старые затёсы. Маршрут местных проводников». Подумала и добавила вопросительный знак.

На каждой развилке Ермолай останавливался, снимал шапку и шептал что-то в бороду. Потом втыкал в расщеп сосны пучок полыни, повязывал на ветку красную нитку, а на пенёк у тропы клал кусочек хлеба с щепоткой соли. В старые пни он всаживал нож по самую рукоять, каждый раз лезвием назад, в сторону дороги, по которой мы только что прошли.

Я старалась не пропустить ни одной детали. Такие вещи и составляли то, ради чего мы сюда приехали. Обычай мог исчезнуть, измениться, обрести новыми объяснениями, но пока его соблюдали, он продолжал жить.

— Это что-то вроде подношения? — спросила я.

Ермолай заметил мой взгляд.

— Хозяину.

— Лесному?

— А кому ж ещё?

— Вы верите, что он существует? — спросила Дана.

Она произнесла это почти весело. Наверное, хотела показать, что мы приехали сюда не затем, чтобы пугаться каждого пня. Но, встретившись с Ермолаем глазами, быстро перестала улыбаться.

— Существует, не существует, — сказал он. — А здороваться надо.

Он поправил нож, проверил, крепко ли тот сидит в древесине, и пошёл дальше.

— Удобно, — пробормотала Дана, когда мы поравнялись. — Если не знаешь, существует кто-нибудь или нет, можно на всякий случай со всеми здороваться.

— Вежливость ещё никому не вредила, — отозвался Ярослав.

— Ты сейчас про лес или про людей?

— Пока не определился.

Я улыбнулась. Разговор был совершенно обычным, почти домашним. И всё же, когда я посмотрела на Ермолая, мне показалось, что он слышит нас даже на расстоянии. Не прислушивается — просто слышит. Как слышат лесные звери движение за спиной.

Я отогнала эту мысль. Усталость, холод, слишком много рассказов о местных суевериях. Ничего удивительного, что воображение начинало работать.

К полудню лес изменился.

Ели поредели, начался кедрч. Огромные кедры стояли поодиночке, раскинув тяжёлые лапы, и где-то в кронах орала кедровка — резко и хрипло, как ржавая калитка. Потом мы вышли на гарь.

Чёрные, ободранные стволы торчали из земли, как свечи после службы. Между ними густо поднимался иван-чай, уже седой, пушащийся семенами, и ветер носил по воздуху лёгкие белые нити. Они цеплялись за рукава, за волосы, за лямки рюкзаков.

Ничего красивее и тоскливее я не видела.

Я остановилась, чтобы сделать несколько снимков. На экране телефона всё выглядело почти неправдоподобно: белое на чёрном, тонкие стебли, серое небо. Но фотографии не передавали главного — ощущения, что мы пришли на место, где что-то случилось и до сих пор не закончилось.

— Лидия! — позвал Ярослав. — Догоняй.

Я убрала телефон и поспешила за ним.

Сразу за гарью начался курумник. Каменная россыпь — острые глыбы величиной с чемодан и с комод, поросшие серым лишайником и скользкие от сырости. Приходилось идти по одному, перепрыгивая с камня на камень и каждый раз проверяя, не качнётся ли тот под ногой.

Дана продержалась минут десять.

Потом поскользнулась, взмахнула руками и села на камень.

— Всё, — сказала она. — Дальше я передвигаюсь ползком.

Ярослав помог ей подняться. Она сделала ещё несколько шагов, снова оступилась и ободрала ладонь.

Он молча снял с неё рюкзак и повесил поверх своего.

— Это не рюкзак, — сказал он, покачав его на плече. — Это геологический образец.

— Это мои тонкие научные записи.

— Вот и я о том. Тяжёлые.

Дана засмеялась, и мне на секунду стало легче. Мы снова были просто тремя людьми, которые слишком далеко зашли, слишком много на себя взяли и теперь старались не думать о том, сколько ещё осталось.

К двенадцати я перестала чувствовать пальцы на ногах. К часу пальцы вернулись и начали болеть. К двум я точно знала, что на правой пятке у меня мозоль размером с монету, и перестала об этом думать, потому что думать было нечем.

Самым тяжёлым оказалась согра.

Заболоченный лес. Чёрная вода под ногами, кочки, которые уходили из-под подошв, как живые. Между ними тянулись корни, скользкие, почти невидимые. В некоторых местах вода скрывала всё, кроме верхушек травы, и невозможно было понять, где под ней земля, а где пустота.

Ермолай шёл по кочкам, едва касаясь их ногами.

— Ступай в мой след, — сказал он, не оборачиваясь. — Только в мой. Дно тут не держит.

Я кивнула.

На следующем шаге мне показалось, что соседняя кочка надёжнее. Она была шире, покрыта плотной травой, а след Ермолая уходил в сторону, где под водой что-то подозрительно булькало.

Разумеется, я ступила на соседнюю.

Сапог провалился по колено в ледяную жижу.

Я даже не успела испугаться. Сначала почувствовала холодную воду, мгновенно залившую ногу, потом резкий рывок за руку. Кто-то вытащил меня на кочку, и я едва удержалась на ногах.

— Говорил же, — заметил Ермолай.

— Простите, — выдохнула я.

— Дак не за что. Тут все по первости так.

Я посмотрела на свой сапог. Внутри хлюпало.

— Великолепно, — сказала Дана. — А я ведь хотела сегодня искупаться.

— Можешь ещё успеть, — ответила я.

Она засмеялась, но тут же замолчала.

В согре пахло багульником так сильно, что кружилась голова. Острый, сладковатый, смолистый запах щипал глаза. Где-то далеко ухала птица. Потом всё смолкло. Совсем, разом, как выключили звук.

Ни кедровки, ни дятла, ни шороха в кронах. Только вода хлюпала у нас под ногами, и этот звук был таким громким, что мне захотелось идти тише.

— Что-то не слышно никого, — шёпотом сказала Дана.

— Дак мы близко, — ответил Ермолай. — Здесь уж никто не поёт.

Я хотела спросить, близко к чему, но он уже двигался дальше.

Привал сделали у поваленной ели на сухом бугре.

Я опустилась на мох, не чувствуя ничего, кроме огромной, звенящей благодарности. Сняла рюкзак и вытянула ноги. Правая ступня была мокрой, носок прилип к коже. Я решила пока не проверять, насколько всё плохо.

Ермолай развернул на коленях газету с хлебом и салом. Ярослав достал термос, разлил чай в металлическую кружку, и мы передавали её друг другу, обжигая губы. Тепло медленно растекалось по телу. Дана растирала ладони. Найда легла рядом и положила морду ей на колено.

Я смотрела, как собака дышит. Спокойно, ровно. Умная, как сказал Ермолай. Наверное, умнее нас всех.

— Скажу вам сейчас, — начал проводник, оглядев нас, — пока не пришли, чтоб потом не пенять. В деревне той ночью из дому не выходят. Ни за водой, ни до ветру, ни ежели собака завоет. Ни ежели позовёт кто.

Дана перестала жевать.

— Кто позовёт?

— Знакомым голосом позовёт. Мамкиным. Братниным. Каким хошь.

Он отломил кусок хлеба, прожевал и только потом продолжил:

— Оно голосов не придумывает, милая. Оно их берёт.

Я почувствовала, как холодеют пальцы, хотя кружка в руках была горячеей.

— Ермолай Петрович, — Дана попыталась улыбнуться, — вы нас специально пугаете? Для диссертации?

— Не пугаю, дочка. Упреждаю.

Он помолчал, глядя куда-то в туман между стволами.

— В позапрошлую осень шёл я этой тропой. Нашёл двоих охотников у костра. Сидят друг против друга, глаза открыты. Костёр холодный. На них ни крови, ни царапины, а рты приоткрыты. Будто хотели что-то ответить.

Стало тихо.

Где-то высоко скрипнуло дерево.

Я записывала, и карандаш у меня дрожал. Записывала не потому, что нужно, а потому, что руки хотели делать хоть что-то.

«Двое охотников. Холодный костёр. Рты приоткрыты».

— Это классическая быличка об умерших «на голос», — произнесла Дана тоненьким голосом, пытаясь вернуть себе профессиональную маску. — Мы у Анисьи Фёдоровны почти такую слышали.

— Слышали, — согласился Ермолай. — Да не дослушали. Её до конца никто не рассказывает.

Он достал из-за пазухи кисет и стал сворачивать самокрутку. Делал это медленно, не глядя на нас. Казалось, он давно привык к тому, что люди сначала задают вопросы, а потом жалеют об ответах.

— И того, кто внизу, не гневите, — добавил он, зажигая. — Он слышит.

Карандаш в моей руке замер.

— Кто внизу?

— Дак тот самый. Внизу.

Я уже слышала эти слова. Не здесь, не от Ермолая. Где-то давно, в детстве. На кухне, шёпотом, от кого-то, чьё лицо теперь не могла вспомнить. Я помнила только интонацию — такую, с которой говорят о том, что нельзя произносить слишком громко.

Я хотела переспросить, но Ермолай уже поднялся и отряхивал колени.

— Я до ручья, — сказал он. — Тропу погляжу. Вы сидите, не расходитесь.

Он оставил рюкзак у поваленной ели, похлопал по нему.

— Телефон-то спутниковый у меня здесь, под клапаном. Коли чо, вызовем. Только ничо и не случится, ежели правила блюсти.

Найда вскочила и потрусила за ним.

Мы остались втроём среди тишины и тумана. Дана жевала сало, но больше не шутила. Ярослав убрал кружку в термос и долго смотрел вслед Ермолаю.

— Лид, — сказала Дана тихо. — Скажи честно. Тебе не страшно?

Я могла бы ответить, что нет. Что мы взрослые люди, приехали собирать фольклор, а не верить каждой истории. Что у любой страшной сказки есть объяснение, а у любого обряда — причины, которые можно выяснить.

Но слова почему-то не складывались.

— Страшновато, — призналась я.

— Слава богу. А то я думала, что я одна.

Ярослав молча подвинул ей остатки шоколада. Она взяла кусочек и благодарно улыбнулась.

Я посмотрела на рюкзак Ермолая. Под клапаном лежал спутниковый телефон. Обычная вещь, маленькая и понятная. Можно позвонить, если заблудимся. Можно вызвать помощь. Можно уехать.

Я держалась за эту мысль, как за верёвку.

Ермолай вернулся неожиданно. Я даже не услышала шагов. Просто подняла голову, а он уже стоял рядом, отряхивая ладонью мокрый рукав.

— Идём, — сказал он. — Нам до темна успеть надо.

Не знаю, сколько мы шли после привала. Три часа, четыре. Время потеряло смысл. Я перестала проверять часы, потому что каждый раз, когда доставала телефон, казалось, что с последней проверки прошло гораздо больше времени, чем на самом деле.

Лес темнел быстрее, чем я ожидала. Свет уходил из него, как вода из ванны, снизу вверх. Сначала исчезли тени, потом краски, потом остались только серые стволы, серый мох и серый туман.

Мы больше не разговаривали. Дана шла, держась за мой рюкзак. Ярослав, потерявший свою обычную лёгкость, молча нёс свой рюкзак и Данин. Я думала только об одном: поставить следующую ногу, а потом ещё следующую.

Найда бежала рядом. Я уже почти не обращала на неё внимания, поэтому не сразу поняла, что собаки нет.

Обернулась.

Найда стояла в десяти шагах позади, на кочке, вытянув морду вперёд. Она скулила тонко и жалобно, по-щенячьи. Дальше не шла.

— Найда, — позвал Ермолай. — Чо ты? Пошли.

Собака не двинулась. Потом легла, прижав уши, и закрыла морду лапами.

Я никогда раньше не видела, чтобы собака так боялась.

— Не пойдёт, — сказал Ермолай после паузы. — Ей там не любо. Ну и ладно. Домой ступай. Домой, говорю!

Найда поднялась. Медленно, оглядываясь, побрела назад, туда, откуда мы пришли. Я смотрела ей вслед, пока рыжая спина не растворилась в тумане.

— А она одна дорогу найдёт? — спросила Дана.

— Найдёт.

— Но...

— Найдёт, — повторил Ермолай.

Он не сердился. Просто не хотел больше обсуждать собаку.

Мне хотелось оглянуться ещё раз, убедиться, что Найда действительно ушла, что с ней всё в порядке, что за нами по-прежнему тянется обычный лес, из которого можно вернуться. Но я не стала. Мы ведь и так слишком долго смотрели назад.

Потом лес кончился.

Он не поредел, как перед другими деревнями. Не отступил, оставляя просвет между стволами. Он оборвался, как обрывается край стола: только что вокруг стояли ели, а в следующий миг перед нами лежала открытая земля, ровная, мокрая, чёрная. Над ней стелился туман — густой, молочный, неподвижный. Из него, словно из воды, торчали верхушки крыш.

— Выя, — сказал Ермолай и снял шапку.

Я ждала чего-то другого.

Дыма из труб, лая, огней в окнах. Пусть не приветливой встречи, пусть хотя бы чьего-нибудь лица за стеклом. Но деревня лежала перед нами, как на дне пруда: тёмная, сырая, замершая.

Я не сразу смогла её разглядеть. Туман съедал всё, оставляя только силуэты. Высокие чёрные избы на подклётах стояли далеко друг от друга, будто каждая боялась соседей. Над крышами торчали колодезные журавли. Где-то слева темнела стена елей, а справа уходила в бесконечность плоская серая гладь.

Болото.

Я чувствовала его запах — терпкий, сладковатый, старый. Запах мокрой земли, прелой травы и воды, которая слишком долго стоит на одном месте.

И тишина.

Такая плотная, что у меня заложило уши. Ни собаки, ни курицы, ни скрипа калитки. Не шёл дым ни из одной трубы, хотя стоял холод и в каждом доме полагалось топить печь. Не горело ни одно окно. Ни одной свечи, ни одной лампы, ни одной щели света.

Дома стояли чёрные и безглазые, как мёртвые.

— Тихо тут, — шёпотом сказала Дана.

Я не ответила. Смотрела на ставни.

Они были закрыты. Все. На каждом окне, на каждом доме, насколько хватало глаз. Ещё не стемнело окончательно, а деревня уже закрылась на ночь, как закрывается человек, который хочет, чтобы его не заметили.

У колодца, шагах в сорока от нас, стояла фигура. Согнутая, в тёмном платке, с ведром в руке.

Я успела заметить, как она подняла голову.

Потом ведро звякнуло о сруб, расплескав воду, и фигура, не оборачиваясь, пошла прочь. Быстро, мелкими шагами. Туман поглотил её на третьем.

— Здесь люди живут? — спросила Дана.

Она держала меня за рукав. Пальцы у неё были ледяные.

— Живут, — сказал Ермолай. — Идёмте. Не стойте.

Он повёл нас вдоль околицы, не сворачивая в переулки и не здороваясь с теми, кого не было видно. Земля под ногами чавкала. Брёвна изб, мимо которых мы проходили, были чёрные, мокрые, в зелёных пятнах мха. Наличники облупились, узоры на них местами выкрошились. Всё выглядело так, словно деревня много лет стояла заброшенной.

И всё же у колодца кто-то только что набирал воду.

Я старалась не смотреть по сторонам слишком пристально. Не потому, что боялась увидеть что-то конкретное. Скорее, не хотела поймать себя на том, что ищу движения за закрытыми ставнями.

И вдруг остановилась.

На коньке ближайшей избы, над самым гребнем, торчала вырезанная из дерева голова коня. Старая, потемневшая, с гривой, расчёсанной по резным зубцам. И у неё были глаза.

Глубокие, круглые, вырезанные тщательно, с зрачками.

Я вспомнила Верхнюю Гарь, где у коньков глаз не было. Там резные головы просто украшали крыши. Здесь же конь смотрел прямо на тропу.

— Лидия, — позвал Ярослав из тумана. — Ты чего?

— Иду, — сказала я.

Я заставила себя отвернуться и догнала остальных. Но всё равно чувствовала спиной тяжёлый, неподвижный взгляд деревянного коня.

Дом, в котором нам предстояло ночевать, стоял на самом краю деревни, там, где тропа упиралась в ржавую болотную воду. Такой же, как остальные: чёрный, высокий, на подклёте в семь венцов. Чтобы подняться на крыльцо, нужно было преодолеть одиннадцать скрипучих ступеней.

Крыльцо было с резными столбиками, а вдоль фасада тянулась крытая галерея — гульбище. Перила местами почернели от сырости. Наличники на окнах были выпилены в виде солнц, тоже потемневших и стёртых. Ставни, закрытые снаружи, были сплошные, без единой щели.

«Да уж», — подумала я.

Ермолай поднялся по ступеням, достал из-за пазухи ключ, тяжёлый, тёмный, как кусок железа из старой кузницы, и открыл дверь.

Дерево скрипнуло.

Изнутри пахло сухой полынью и холодной золой.

Мы вошли, как входят в церковь: тихо, стараясь не шуметь.

Сначала были сени, холодные, узкие, с бревенчатыми стенами и лавкой вдоль одной из них. Потом вторая дверь, низкая, так что пришлось пригнуться, и мы шагнули в избу.

Дом был чистый. Это я заметила прежде всего. Слишком чистый для места, где, по словам Ермолая, давно никто не жил. Пол выскоблен до блеска, так что в сумраке он казался светлым. Половики, домотканые, в красно-чёрную полоску, лежали ровно, как по линейке. На стенах ни пятнышка. На столе, под которым стояли две лавки, застелена скатерть, чуть пожелтевшая, но выглаженная. На лавках вдоль стен лежало бельё, свежее, пахнущее речной водой. Что ж, вполне уютненько.. хотя уюта я не чувствовала вовсе.

Я шла по избе, оглядываясь. Матица, огромная балка, идущая вдоль потолка, была увешана пучками сухих трав: полынь, чертополох, пижма. В красном углу не было икон. Там висела пустая божница, деревянная полка с резным краем, и на ней лежал только пучок трав, перевязанный красной ниткой. Под ней стол. Рядом рукомойник с медным носиком, а на лавке эмалированное ведро с холодной водой.

Главным в избе была печь.

Огромная, белёная, широкая, как корабль, она занимала почти четверть избы. Чёрное устье, шесток, заслонка. Рядом с ней стоял голбец, деревянный короб со ступеньками, ведущий вниз, в подполье, а над ним, под самым потолком, тянулись полати, широкие дощатые настилы для сна. На шестке в рядок стояли чугунки. Ухват, кочерга, веник.

— Кто тут прибирает? — спросила я.

— Люди тут поддерживают, — сказал Ермолай, не оборачиваясь. Он стоял у печи и разглядывал её, как разглядывают старого знакомого. — Для гостей.

— Для каких гостей? — Дана попыталась улыбнуться, но вышло плохо.

— Дак для разных.

Он кивнул на голбец, на деревянную крышку люка у его подножия, запертую кованой накладкой.

— Вот эту не трожьте. Сыро там.

— Хорошо, — сказал Ярослав. — Не будем.

Ермолай перекрестился на пустой красный угол, неторопливо, три раза. Потом присел у печи, достал из кармана бересту, чиркнул спичкой. Береста свернулась, затрещала, пламя перебралось на сухую щепу, а с неё на ровно уложенные берёзовые поленья.

— Хозяин-батюшка, — тихо сказал Ермолай, глядя в огонь. — Пусты ночевать. Мы чужие, мы не к худому. Мы тихонько.

Печь загудела. Тёплый свет лёг на стены, на потолок, на наши лица. Впервые за этот бесконечный день я почувствовала, как отпускает в груди.

Мы почти не разговаривали. Ярослав поставил на шесток котелок, и пока вода нагревалась, мы жевали сухари и консервы, не чувствуя вкуса. Дана разулась и ойкнула, увидев свои ноги. Какой ужас. Я повесила носки сушиться на печной столб и вдруг подумала, что никогда в жизни не была так счастлива оттого, что кто-то топит печь.

Ермолай обошёл избу. Закрыв изнутри ставни, одну за другой, хотя снаружи они уже были заперты. Потом опустил на дверные скобы толстый деревянный брус, заслонку, и проверил, крепко ли сел.

— Ночью дверь не открывать, — сказал он, — как бы что ни было. Я вот тут, у порога. Вы на полатах, кто на лавках. Ложитесь.

— А вы? — спросила Дана.

— А я посижу. Привык.

Он сел на лавку у двери, положив ружьё на колени, и затих, как будто его там не было.

Я выбрала лавку возле небольшого окошка. Оно было маленькое, в ладонь, закрытое изнутри створкой, и сквозь щель я видела только узкую полоску черноты. Свернула куртку,

положила под голову, укрылась стёганным одеялом, пахнущим полынью. Как же я устала, уснуть бы скорее, чтобы этот день закончился.

Дана уже спала. Ярослав растянулся на полатах, и сверху донеслось глубокое, ровное дыхание. Печь потрескивала, и в её отсветах по стенам плыли длинные тени. Мы уснули без сил.

Из моего дневника. *Заметка на полях:*

Порог и подпол. В традиционном доме самые опасные места там, где «своё» граничит с «чужим»: порог, окно, печной угол, подполье. Через порог не здороваются и не передают вещей. Под порогом иногда закапывали «строительную жертву». Подполье считали входом в нижнее пространство, и детей туда на ночь не пускали.

Глава 4

Из тетради Стрекозы.

Мне было девятнадцать лет, и это было лето пятьдесят седьмого, и я знала о себе три вещи.

Первая: на лыжах меня в деревне никто не обгонял. По крайней мере, никто, кому я разрешала себя обгонять. Парни, которые утверждали обратное, обычно вспоминали какие-то невероятные обстоятельства: у одного развязалась лыжа, у второго свело ногу, а третий вообще утверждал, что не участвовал в гонке, хотя сам же назначил её на спор.

Я никому не верила. Особенно третьему.

Вторая: я умела рисовать глаза.

Не свои. Свои были самые обыкновенные, серые, как вода в рукомойнике. А вот чужие получались такими, что люди иногда отворачивались. Лошадь на моей бересте могла смотреть с обидой, соседская бабка — с завистью, а отец однажды увидел свой портрет и долго молчал, прежде чем спросить мать, почему она не сказала ему, что он так устал.

Мать ответила, что говорила ему об этом лет десять.

Отец посмотрел на рисунок ещё раз и убрал его в карман.

Я потом нашла эту бересту у него в сундуке, между запасными ножами и мешочком с гвоздями. Не выбросил.

Третья вещь была самой важной.

Я собиралась уехать.

Не когда-нибудь, когда вырасту, разбогатею или получу разрешение от всех родственников до седьмого колена. Я собиралась уехать при первой возможности. На подводе, пешком, на пароходе, если такой вдруг занесёт к нам в болото. Хоть на льдине. Мне было всё равно.

К морю.

Я никогда его не видела, но представляла большим, синим и совершенно бессмысленным. Оно никуда не торопилось, никого не знало и не считало.

Вот это последнее мне особенно нравилось.

У нас в деревне по утрам считали дымы.

Проснёшься, выглянешь в окно, посмотришь на крыши. У Лукерьи дым идёт? Идёт. У Меланы? Идёт. У нас? Ещё бы не идти, мать уже печь растопила. Значит, все живы, все на месте, можно завтракать.

Если у кого дым не поднимался, к тому шли.

Иногда просто проверить, не захворал ли человек. Иногда приносили дрова, иногда хлеб. А иногда возвращались молча, и тогда в деревне долго не разговаривали о том, что случилось.

Я понимала, зачем это нужно. Правда понимала. Если живёшь на краю болота, за которым до ближайшего жилья три дня пути, поневоле начинаешь присматривать за соседями.

Но мне казалось, что мы присматриваем слишком внимательно.

Стоило мне задержаться у ручья, как мать уже знала. Стоило сходить к бабке Меланье, как об этом узнавали две соседки, а к вечеру — вся деревня. Я не могла чихнуть, чтобы на другом конце улицы кто-нибудь не крикнул: «Будь здорова, Стрекоза!»

Иногда мне хотелось уехать только затем, чтобы однажды чихнуть и никому ничего не объяснять.

Я не знала тогда, что можно задыхаться не только от тесноты.

Отец вырезал коньки.

Не те, на которых бегают по льду, а деревянные. Их ставили на самый гребень крыши, чтобы смотрели поверх домов и видели всё, что приближается со стороны Камня.

Отец был лучшим мастером в округе. Правда, округа о нём не знала, потому что наш конец света находился слишком далеко от самой дальней дороги. Но если кому требовалась новая крыша, шли к нам. Отец выбирал дерево, сушил его, снимал стружку тонкими завитками и вырезал коня так, словно тот вот-вот должен был фыркнуть и переступить копытами.

Гриву он делал особенно тщательно. Зубчик к зубчику, ни одного лишнего движения ножом.

А потом вырезал глаза.

— Зачем ему глаза? — спросила я однажды, когда была маленькой.

— Чтобы смотрел.

— Так он же деревянный.

Отец повернул конька ко мне мордой.

— А ты думаешь, живой обязательно должен быть из мяса?

Я подумала и решила, что отец опять разговаривает загадками. Он любил это делать, особенно когда не хотел отвечать на вопрос.

— А если глаза не вырезать?

— Тогда он не сторож.

— А кто?

— Деревяшка.

— Пап, ну ты же сам его из дерева делаешь.

— Вот именно. А глаза вырезаю.

На этом разговор закончился. У отца имелось редкое умение объяснять всё так, что вопросов становилось вдвое больше.

На каждой крыше в Вые сидел конь. На некоторых старых домах дерево потемнело, грива растрескалась, но глаза всё равно блестели, когда на них падал свет.

Ночью к Камню не ходили. Если из-за ограды звали по имени, не отвечали. Даже если голос был знакомым. Особенно если знакомым.

Эти правила я знала с детства, как знала, что зимой нельзя хвататься голой рукой за железо, а в болоте нельзя проверять глубину ногой.

Я не то чтобы верила в каждое слово взрослых. Просто спорить с ними было бесполезно, а уезжать я всё равно собиралась.

Так что пусть коньки смотрят. Пусть бабка Меланья шепчет над травами. Пусть мать запирает дверь на два засова.

Я-то уеду.

А потом в нашу деревню приехали геологи.

Они появились в июне, когда болото уже оттаяло, но ещё не успело превратиться в сплошную зелёную кашу.

Новость была такая, что её обсуждали даже те, кто обычно не выходил за калитку. Шесть человек, одиннадцать лошадей, палатки, рация, инструменты и начальник, которого все называли Игнатьичем.

Настоящая экспедиция.

Не фельдшер, приезжавший раз в год с чемоданчиком, и не человек из сельсовета, который каждый раз уверял, что дорога скоро появится. Люди, которые собирались работать. Искать что-то важное. Может, даже такое, ради чего к нам наконец проведут нормальную дорогу.

Последнее я придумала сама, но сразу решила, что это хорошая мысль.

Игнатьич оказался толстым, краснолицым и разговорчивым. Он пил чай у нас на кухне, вытирал платком лысину и объяснял отцу, что им нужен кварц. Пьезокварц, государственной важности. Для связи и оптики. Где-то за Чудским мхом, возле самого Камня, по старым сведениям, могли находиться целые полости с кристаллами.

— Хрустальные погреба, — повторил он с таким удовольствием, будто уже собирался продавать билеты.

Отец слушал, не перебивая. Это было плохим знаком. Когда отец молчал долго, собеседнику следовало насторожиться.

— Проводник нужен, — закончил Игнатьич. — Человек, который знает тропы.

— До Камня мы не ходим, — сказал отец.

Игнатьич перестал улыбаться.

— А до подножия?

— До подножия можно. Если по светлomu.

— Так мы же по светлomu! — обрадовался Игнатьич. — У нас дисциплина. Режим. Все люди взрослые.

Отец посмотрел на его сапоги, потом на меня.

— Ничего не ломать. Куда не велят, не лезть.

— Разумеется.

— И ночью по лесу не ходить.

— Само собой.

— Тогда ладно.

На третий день отец сломал ногу.

Он чинил крышу у соседей, когда под ним треснула балка. Мать сказала, что ему повезло: кость сломалась ровно, без осколков. Отец ответил, что если это везение, то он предпочёл бы в следующий раз обойтись без него.

Ему наложили шину из двух дощечек и старой портянки. Он лежал на печи, ругался на балку, на собственную ногу и на весь род человеческий, а Игнатьич ходил по двору и поглядывал на небо.

Экспедиция ждать не могла. Сезон короткий, люди из района уже выделили деньги, а кварц, по словам Игнатьича, сам себя не найдёт.

— Найдёт другого проводника, — сказал отец, когда мы остались одни. — Только неизвестно, куда тот его заведёт.

— Я поведу.

Мать уронила ложку.

Отец медленно повернул ко мне голову.

— Нет, — сказала мать.

— Я знаю тропу.

— Нет.

— Я ходила с тобой за Чудской мох. Я знаю, где лежнёвка уходит к ряме, где обходить топь, где можно напоить лошадей.

— Стрекоза.

— Что — Стрекоза? Я лучше всех знаю эту дорогу, кроме тебя. А ты с ногой никуда не пойдёшь.

Мать встала и принялась собирать со стола чашки. Очень аккуратно, одну за другой. Когда она сердилась по-настоящему, то всегда начинала что-нибудь делать руками.

— Тебе девятнадцать, — сказала она.

— Я в курсе.

— Там лес.

— Мама, у нас вокруг лес.

— Там другой лес.

Я чуть не рассмеялась. Но посмотрела на её лицо и не стала.

Она боялась. Не за экспедицию, не за кварц и даже не за то, что я могу заблудиться. Она боялась отпустить меня туда, откуда я, возможно, вернусь другой.

И чем сильнее она боялась, тем сильнее мне хотелось доказать, что я уже взрослая.

— Я справлюсь, — сказала я тише.

Отец долго смотрел на меня. Потом вздохнул.

— Она справится.

Мать закрыла глаза.

— Ты тоже, значит, против меня?

— Я не против тебя. Я за то, чтобы у нас был проводник, который не утопит всю партию в первой же согре.

— Спасибо, пап, — сказала я.

— Не за что. Вернёшься — крышу доделаешь.

Вот так я получила разрешение на путешествие.

Бабка Меланья, до этого молча вязавшая у печи, подняла голову.

Она была маленькая, сухая и крепкая, словно её саму вырезали из дерева. Глаза у неё были светлые, почти бесцветные. Когда она смотрела на человека, казалось, что видит не его лицо, а что-то за ним.

— Пусть, — сказала она.

Мать резко повернулась.

— Мама!

— Стрекоза вернётся.

Бабка снова опустила глаза к вязанию. Будто всё уже было решено и обсуждать больше нечего.

Меня звали Стрекозой все, кроме матери. Для неё у меня имелось другое имя — «горе». Она произносила его редко, но всегда так, словно я уже успела что-то натворить.

На следующее утро я повела лошадей.

Я ехала на гнедом Орле. Орёл был ленивой, вредной скотиной, которая при первой возможности пыталась свернуть с дороги, зато обладала таким самомнением, что иногда я всерьёз подозревала: он считает себя хозяином не только лошадей, но и всей Вьи.

За ним тянулись остальные. Позади шла экспедиция, шумела, звякала железом, спорила о вьюках и задавала вопросы, на которые я отвечала всё короче.

— А это что за птица?

— Не знаю.

— Вы же здесь живёте.

— Поэтому и не знаю. Птицы не представляются.

— А вот эти ягоды...

— Не ешьте.

— Я и не собирался.

— Тогда зачем спрашиваете?

Игнатьич несколько раз пытался объяснить мне, что с людьми нужно быть приветливее. Я отвечала, что с людьми я приветливая, а вот с дураками — по обстоятельствам.

Он обижался минут на пять, потом забывал.

Я знала, что им нужна помощь, и собиралась её оказать. Но мне хотелось, чтобы они сразу поняли: здесь не они главные. Не их карты, не их приборы и не их начальник с красным лицом. Здесь я знала, куда ставить ногу, а куда лучше даже не смотреть.

Последним в колонне шёл человек, которого я заметила не сразу.

Высокий, в новом брезентовом плаще, с молотком на поясе. Сапоги у него были такие огромные, что я подумала: если он провалится в болото, придётся вытаскивать не его, а сначала сапоги.

Он не спрашивал про птиц. Не спорил с Игнатьичем. Не пытался показать, что разбирается в местности. Просто смотрел.

Внимательно, спокойно, будто хотел запомнить всё до последней травинки.

Я придержала Орла.

— Эй, городской!

Человек поднял голову.

— Я?

— Других таких красивых сапог в колонне нет. Держитесь правее. Там настил крепче.

Левее не ходите.

— Почему?

— Потому что там окна.

Он посмотрел на болото.

— Какие окна?

— Чёрные. Под водой. Увидите — не понравятся.

Он помолчал, словно решал, шучу я или нет.

— Понял. Спасибо.

Вот это мне понравилось. Не стал спорить, не начал доказывать, что окна бывают только в домах. Просто кивнул и пошёл правее.

Я уже решила, что он, пожалуй, не совсем безнадёжен, когда позади раздался плеск.

Потом мужской вскрик.

Потом:

— А-а-а!

Я обернулась.

Городской стоял по пояс в чёрной воде. В одной руке у него был молоток, в другой — фуражка. Он держал их на вытянутых руках, будто пытался спасти от утопления именно эти два предмета, а не себя.

И смотрел на болото с таким искренним изумлением, что я расхохоталась.

— Я же сказала — правее!

— Я шёл правее!

— Тогда почему вы там?

Он посмотрел вниз.

— Земля ушла налево!

Я смеялась так, что едва не свалилась с Орла. Даже лошади зафыркали. Игнатъич сзади кричал, чтобы никто не двигался, а городской всё ещё стоял в болоте и выглядел так, словно только что открыл новый закон природы.

Пришлось слезть с коня. Я срубила палку, легла на живот у края настила и протянула её ему.

— Давайте руку. Нет, не за молоток. За палку. Вы что, первый раз в болоте?

— Первый раз в таком, которое меня не уважает.

— Оно никого не уважает.

Он ухватился за палку. Я упёрлась ногами в брёвна и потянула. Человек оказался тяжелее, чем выглядел. Когда он наконец выбрался на настил, то сел прямо на доски, весь мокрый, в торфе, с прилипшими ко лбу волосами.

Фуражку он спас. Молоток тоже.

Себя, кажется, не очень.

— Целы? — спросила я.

— Пока да. А вы?

— Я-то чего?

— Вы так смеялись, что я боялся, вы тоже упадёте.

Я открыла рот, чтобы ответить что-нибудь язвительное, но тут он поднял на меня лицо.

И я забыла, что собиралась сказать.

У него были разные глаза.

Правый — карий, тёплый, будто чай с мёдом, который мать давала мне зимой. Левый — серый, светлый, холодный, как небо перед дождём. Не просто разного оттенка. Они словно принадлежали двум разным людям, которые по какой-то ошибке оказались в одном лице.

Я смотрела на него слишком долго.

Он заметил.

Конечно, заметил. Наверняка привык.

— Что-то не так? — спросил он.

— У вас глаза разные.

Он улыбнулся. Не широко, не весело. Так улыбаются, когда заранее знают, что сейчас услышат что-нибудь неприятное, и стараются облегчить задачу собеседнику.

— Да. От мамы и отца достались по одному. Мне говорили, что это не болезнь. Просто так вышло.

— А я и не думала, что болезнь.

— Обычно думают.

— Дураки.

Он моргнул. Потом засмеялся — тихо, удивлённо, будто я сказала что-то, чего он не ожидал услышать даже в самой смелой фантазии.

— Спасибо, — произнёс он.

— За что?

— За дураков.

Я пожала плечами, будто каждый день говорила людям такие вещи.

На самом деле у меня вдруг стало жарко под воротом рубахи.

Он протянул руку.

— Василий.

Я посмотрела на его ладонь.

У нас не принято было называть чужим настоящие имена. Не потому, что мы не доверяли людям. Скорее наоборот: имя считалось вещью личной, как ключ от дома. Не каждому же отдашь ключ только потому, что он вежливо попросил.

Мать говорила: «Имя береги, как печь зимой».

Я никогда не понимала, почему именно печь. Наверное, потому, что без неё зимой не выживешь.

— Стрекоза, — сказала я.

— Это имя?

— Моё.

— Красивое.

— Не настоящее.

— Я догадался.

Он всё ещё держал руку протянутой. Я наконец пожала её. Ладонь у него была большая, тёплая, с мозолями на пальцах. Не такая, как я ожидала от человека, который приехал изучать камни. Хотя, если подумать, камни тоже не слишком мягкие.

— Приятно познакомиться, Стрекоза.

— В следующий раз смотрите под ноги, Василий.

— Обязательно.

— И идите в середине колонны. Чтобы я видела, куда вы проваливаетесь.

— Будет сделано.

Он сказал это совершенно серьёзно. А потом поднялся, отжал рукав плаща и добавил:

— Хотя я всё-таки считаю, что земля ушла налево.

Я снова рассмеялась.

И вот тогда, кажется, всё и началось.

Мы прожили так три недели.

Я водила экспедицию по тропам, ставила лагерь, проверяла лошадей, следила, чтобы геологи не пытались сокращать путь через топи. Игнатъич ворчал, что я командую его людьми. Я отвечала, что его люди пока живы исключительно благодаря моему командованию.

Он говорил, что я невыносимая.

Я говорила, что он тоже.

Мы оба считали, что победили в споре.

Василий почти не спорил. Он вообще оказался странным человеком: мог часами объяснять, почему камень раскалывается именно так, а не иначе, но при этом не мог понять, что сапоги у костра нужно сушить осторожно. В первый же вечер он поставил их слишком близко к огню и едва не испортил подошвы.

Я вытащила сапоги палкой.

— Вы всегда так обращаетесь с вещами?

— Только с теми, которые не умеют возражать.

— Значит, с лошадьми вы тоже не справитесь.

— Лошади возражают?

— Ещё как.

Он задумался, словно я сообщила ему важные научные сведения.

На следующий день он попросил меня научить его сушить сапоги.

Я решила, что это самый разумный вопрос, который мне задавали за последние три дня.

Утром я выходила к ручью раньше остальных. Там было тихо, вода обжигала пальцы, а над Камнем поднимался туман. Я расплетала косу, умывалась и сидела на корточках, пока не просыпался лагерь.

Василий начал приходить следом.

Сначала я думала, что он просто рано встаёт. Потом решила, что ему нужно умываться.

На четвёртый день спросила:

— Вам что, в палатке места мало?

— Почему?

— Вы всё время сюда ходите.

— Здесь хорошо.

— В лагере тоже ничего. Только Игнатъич храпит.

— Вот именно.

Я фыркнула. Василий сел рядом, подогнув длинные ноги, и достал из кармана блокнот.

— Вы опять записывать будете?

— Если позволите.

— Что?

— Пока не знаю.

— Очень полезная наука.

— Самая полезная. Сначала смотришь, потом понимаешь, что именно увидел.

Я посмотрела на него с подозрением.

— Это вы сейчас придумали?

— Нет. Но мне понравилось, как звучит.

Я рассмеялась, и он улыбнулся.

Постепенно мы стали разговаривать.

Он рассказывал о камнях. О том, что кварц растёт в жилах, что иногда внутри породы скрываются полости с кристаллами, что один камень может быть неприметным снаружи, а внутри у него окажется целый прозрачный мир.

— Вся вода мира, — сказал он однажды, показывая мне кусок хрусталя. — Будто застыла и осталась здесь.

Я поднесла кристалл к глазам. Внутри играли тонкие белые линии.

— И вы ради этого сюда приехали?

— Ради этого тоже.

— А ради чего ещё?

Он забрал кристалл и убрал в мешочек.

— Чтобы увидеть.

— Что именно?

— То, чего раньше не видел.

Я подумала, что это очень удобный ответ. С таким можно всю жизнь ездить по чужим местам и ни разу не объяснить, зачем.

Но мне нравилось его слушать.

Он учил меня словам: «пегматит», «друза», «полевой шпат». Я учила его нашим: «ряма», «гарь», «согра», «морошка». Он повторял их медленно, внимательно, иногда записывал в блокнот, а потом проверял себя.

— Согра, — сказал он однажды, указывая на заросший лесом участок.

— Нет. Это ряма.

— А согра?

— Там, где лес суше. И деревья другие.

— А если я забуду?

— Я вас утоплю.

— Понятно. Очень строгая система обучения.

Он не смеялся надо мной, когда я не знала научных слов. Не пытался объяснить мне, что я должна думать иначе. И не делал вид, будто понимает Выю лучше меня только потому, что у него есть карта.

Я впервые встретила человека, который умел так внимательно слушать.

Иногда мне казалось, что он даже не моргает.

На третьей неделе Василий спросил, хочу ли я уехать.

Я чистила копыто Орлу. Конь, как всегда, пытался выдернуть ногу, потому что считал уход за собой унизительным занятием.

— Хочу, — ответила я. — К морю.

— Вы уже говорили.

— Значит, запомнили.

— А почему именно к морю?

Я пожала плечами.

— Оно большое.

— Лес тоже большой.

— Лес везде одинаковый.

Он покачал головой.

— Нет. Леса разные.

— Это вы так говорите, потому что в них ничего не считаете.

— А что нужно считать?

— Дымы.

Он замолчал.

Я поняла, что сказала слишком резко, и принялась снова чистить копыто. Орёл воспользовался случаем и попытался наступить мне на сапог.

— Ах ты скотина, — пробормотала я, отодвигая его ногу.

— Зачем вы их считаете? — спросил Василий.

— Чтобы знать, что все живы.

— А если дым есть, а человека нет?

Я подняла голову.

Он смотрел на меня спокойно, но уже не улыбался.

— Тогда это совсем другое дело, — сказала я.

— Понимаю.

— Нет, не понимаете.

Я сама удивилась тому, как резко это прозвучало. Василий не обиделся. Он только кивнул и отвёл взгляд.

Мне стало стыдно.

— Простите, — сказала я. — Я не хотела.

— Всё нормально.

— Ничего не нормально. Я просто... устала от того, что все всегда знают, где я, что делаю и зачем. Хочу хоть раз проснуться и не знать, кто сейчас смотрит в моё окно.

Он долго молчал.

— Я бы хотел, чтобы кто-нибудь смотрел в моё окно, — сказал он наконец.

Я перестала чистить копыто.

Василий сидел у ручья, обхватив колени руками. Он смотрел на воду, и его лицо казалось совсем другим, чем обычно. Без улыбки он выглядел старше.

— У меня была семья, — продолжил он. — Отец, мать, сестрёнка. Потом началась война. Отец остался под Москвой. Мать с сестрой заболели в эвакуации. Я попал в детдом в Свердловске. Мне было одиннадцать.

Он говорил ровно, будто перечислял даты в отчёте.

— А потом?

— Потом я вырос. Выучился. Стал геологом. Езжу по стране, нахожу камни, пишу отчёты. Иногда сплю в общежитиях, иногда в палатках. Иногда в чужих домах.

Он усмехнулся.

— Получается, я всё время где-то живу. Только нигде не дома.

Я не знала, что сказать.

Мне хотелось утешить его, но все слова казались слишком маленькими. «Всё будет хорошо» — неправда. «Вы ещё найдёте семью» — я не могла этого обещать. «Мне жаль» — почему-то звучало так, будто я говорю о чужой сломанной вещи.

Поэтому я сказала:

— Дом можно построить.

Василий повернулся ко мне.

— Можно.

— Вы же умеете работать руками?

Он посмотрел на свои ладони.

— Вроде бы.

— Тогда постройте. С печкой. С окнами. С занавесками, если вам так хочется.

— И кто-нибудь будет ждать?

Я не сразу ответила.

— Если захотите, чтобы ждали.

Он улыбнулся, но в этот раз улыбка не скрывала грусть. Она просто была.

— А вы? — спросил он. — Вы ведь не хотите, чтобы вас ждали?

Я отвернулась к Орлу.

— Я хочу, чтобы меня отпустили.

— Это не одно и то же.

— Для меня пока одно.

Он не стал спорить.

Я продолжила чистить копыто, хотя оно давно было чистым. И вдруг подумала, что мы с ним хотим совершенно разных вещей.

Он искал место, где можно остаться.

Я искала место, откуда можно уйти.

И всё же рядом с ним мне было спокойно. Как будто на короткое время можно было не решать, кто из нас прав.

Это меня пугало сильнее, чем хотелось признаться.

Однажды я нарисовала Игнатъича.

Он вышел из палатки красный, злой и растрёпанный. У них перепутались образцы, один из ящичков никак не закрывался, а повар опять сварил кашу с комками. Игнатъич кричал на всех подряд, пока наконец не сел на бревно и не уронил голову в ладони.

Я знала, что лучше к нему сейчас не подходить.

Поэтому села неподалёку и достала бересту.

Я рисовала быстро, пока не исчезло выражение его лица. Короткие тёмные линии, согнутая спина, маленькое лицо, почти провалившееся в пустоту вокруг. Получилось нечто похожее на человека, который сидит в глубокой яме и никак не может выбраться.

— Это Игнатъич? — спросил Василий.

Я вздрогнула. Он подошёл так тихо, что я его не услышала.

— А кто же ещё?

Он присел рядом и долго смотрел на рисунок.

— Он устал, — сказал наконец.

— Очень.

— И боится.

Я подняла голову.

— Чего?

— Что не успеет. Что что-нибудь потеряет. Что все усилия окажутся напрасными.

Я посмотрела на Игнатъича. Тот уже ругался с поваром, размахивая ложкой.

— Он просто любит командовать.

— Это тоже.

Василий осторожно коснулся края бересты.

— Вы ведь не лицо рисуете.

— А что?

— То, что человек не говорит.

Я хотела возразить, но не смогла. Он попал слишком точно.

Я действительно не умела рисовать просто лицо. Когда брала уголёк, мне казалось, что я вижу не глаза, нос и рот, а что-то за ними. Иногда рисунок получался совсем не похожим на человека, но тот узнавал себя. Иногда, наоборот, все черты были на месте, а человек смотрел и говорил: «Это не я».

Я не знала, как объяснить эту разницу.

Василий, кажется, понял.

— Нарисуйте меня.

— Нет.

— Почему?

— Потому что нет.

Он улыбнулся.

— Очень убедительно.

— Я серьёзно.

— Я тоже.

Я посмотрела на него. На карий глаз, на серый. На тёмные волосы, которые вечно лезли на лоб. На ямочку на щеке, появлявшуюся, когда он улыбался. На длинные ресницы, которым позавидовала бы любая девушка в Вые.

И вдруг поняла, что не могу его нарисовать.

Не потому, что не хочу.

Я не знала, какой краской писать его глаза. Один тёплый, другой холодный. Один словно приглашал подойти ближе, другой будто предупреждал, что близко подходить не стоит.

— У вас глаза разные, — сказала я.

— Я заметил.

— Я не знаю, как их рисовать.

— А вы нарисуйте оба.

— Вы не понимаете. Они... — Я замолчала, подбирая слова. — Они будто смотрят в разные стороны.

Он перестал улыбаться.

Я испугалась, что обидела его, но он вдруг тихо рассмеялся.

— Знаете, Стрекоза, мне кажется, вы первая, кто сказал это не как упрёк.

Я опустила взгляд на бересту.

— Я не хотела вас обидеть.

— Не обидели.

Он поднялся, отряхнул колени и протянул мне руку, чтобы помочь встать.

— Тогда я подожду.

— Чего?

— Пока вы научитесь меня рисовать.

Он сказал это так просто, словно речь шла о погоде или о том, что завтра нужно проверить упряжь.

Но я запомнила.

На Ивана Купалу у нас пекли блины, жгли костры и пускали венки по ручью.

Девушки плели их из цветов и трав, стараясь сделать красивее, чем у соседок. Считалось, что венок, который поплывёт по течению, сулит счастье. Если застрянет у берега — придётся ждать. А если пойдёт ко дну, бабка Меланья говорила, что девушке лучше не выходить замуж, а становиться «своим человеком для деревни».

Я не знала, что это значит, но звучало не слишком обнадёживающе.

Мой венок вышел кривоватым. Ромашки торчали в разные стороны, васильки почти потерялись, а полынь я добавила нарочно — для запаха и от нечистого.

Мать посмотрела на него и сказала:

— Можно было бы и получше.

— Можно было бы и не смотреть.

— Стрекоза.

— Мам, я шучу.

Она отвернулась, но я заметила, что уголок её рта дрогнул.

На другом берегу расположилась экспедиция. Геологи смотрели на нас с любопытством, словно мы были частью какого-то важного обряда, который они собирались потом описать в отчёте. Игнатий сидел у костра, жевал блин и пытался объяснить повару, почему тот неправильно держит сковороду.

Василий стоял чуть в стороне.

Я старалась на него не смотреть.

Когда пришла моя очередь, я вошла в воду по колено и опустила венок на поверхность. Он качнулся, зацепился за мою ладонь, потом освободился.

Я ждала, что его понесёт вниз по ручью, как остальные.

Но венок поплыл поперёк.

Медленно, словно выбирал дорогу. Его разворачивало течением, он кружился на месте, а потом снова двигался к другому берегу.

Туда, где стоял Василий.

Я почувствовала, как у меня вспыхнули щёки.

— Смотри-ка, — прошептала кто-то из девушек.

— К кому это он?

— А к кому же ещё?

Я хотела провалиться в воду. Желательно в ту самую, где окна.

Венок доплыл до берега и остановился у Васильевых сапог.

Он наклонился, осторожно поднял его двумя пальцами и посмотрел на меня. Не засмелся, не стал поддразнивать. Только улыбнулся — так, словно ему доверили что-то важное.

Потом надел венок себе на колено.

Игнатьич закашлялся. Кто-то на берегу свистнул. Мать резко отвернулась.

А бабка Меланья подняла голову и посмотрела не на нас, а на Камень.

Я увидела это и впервые за весь вечер перестала смущаться.

Потому что бабка никогда не смотрела на Камень просто так.

Но Василий уже шёл ко мне.

Позже костры догорели. Люди разошлись по домам, девчонки унесли свои венки, а я осталась у ручья мыть ноги от ила.

Василий подошёл неслышно. Венок он держал в руках.

— Я хотел вернуть.

— Зачем? Оставьте себе.

— А вдруг он кому-то другому нужен?

— Кому?

Он посмотрел на меня с улыбкой.

— Хорошо. Оставлю.

Мы стояли рядом, и над нами было столько звёзд, что казалось, небо стало ближе к земле. Вода тихо шуршала у берега.

— Можно спросить? — сказал он.

— Вы всегда спрашиваете, когда уже знаете ответ.

— Это неправда.

— Правда.

Он задумался.

— Тогда спрошу то, на что не знаю ответа.

Я подняла голову.

— Как вас зовут на самом деле?

Вот и всё. Я знала, что рано или поздно он спросит.

— Нельзя.

— Почему?

— Потому что у нас так заведено. Настоящее имя говорят, когда человек становится своим.

— А как понять, что он стал своим?

Я посмотрела на венок в его руках. Полынь уже начала подсыхать, но цветы ещё держались.

— Не знаю, — сказала я честно. — Наверное, когда перестаёшь бояться, что он уйдёт.

Василий не ответил сразу.

Я пожалела о своих словах. Они прозвучали слишком откровенно, почти как признание. А я не собиралась признаваться. Я вообще не собиралась влюбляться. У меня имелся план: уехать к морю, увидеть большие города, жить так, чтобы никто не считал мои дымы.

Влюблённость в планы не входила.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Тогда я подожду.

Он произнёс это без насмешки и без обещаний. Просто как человек, который умеет ждать.

Мы ещё немного постояли у воды. Потом он ушёл к лагерю, а я осталась одна.

Я смотрела на Камень. Он был чёрным на фоне звёздного неба, огромным и неподвижным. Мне вдруг показалось, что там, наверху, кто-то тоже смотрит на нас.

Я быстро отвернулась.

До этой ночи я ни разу не сомневалась, что уеду из Выи. Я могла представить себя на дороге, в городе, на берегу моря. Могла представить, как просыпаюсь в чужой комнате, где никто не знает моего имени, и как это будет прекрасно.

А теперь я стояла у ручья и думала о том, что утром Василий снова придёт сюда умыться. Что он спросит, как называется трава у берега. Что я покажу ему дорогу к рябе и, может быть, позволю сесть на Орла, если тот не вздумает его сбросить.

Я не хотела уезжать.

Не в эту минуту.

«Это пройдёт», — сказала я себе.

Как проходит жар. Как проходит дождь. Как проходит лето.

Я повторила это ещё раз, чтобы поверить.

А потом пошла домой, стараясь не смотреть на крыши, где деревянные коньки стояли лицом к Камню и не закрывали глаз.

Глава 5

Лидия

Я проснулась от запаха хлеба.

Не сразу поняла, где я. Над головой темнел низкий потолок, поперёк него шла матица с подвешенными травами, а сквозь щели в ставнях тянулись тонкие золотые нити, и в них лениво плавала пыль. Печь ещё хранила тепло. Пахло горячим железом, берёзовой золой и чем-то мучным, сладким, домашним. На секунду мне показалось, что я у бабушки на кухне и мне девять лет.

Потом я пошевелилась, и тело напомнило обо всём сразу. О вчерашней тропе. О рюкзаке. О мышцах, существование которых я до сих пор подозревала только теоретически. Я издала звук, какой издаёт старая калитка.

— Живая? — прошептала Дана с соседней лавки.

— Не уверена.

— Я тоже. Ноги чувствую, но не свои.

— А чьи?

— Какой-то женщины, которая очень любила ходить. Мы с ней не знакомы.

Я села, спустила ноги на выскобленный пол, встала... и немедленно получила в лоб.

Матица. Забыла про неё. Сто семьдесят восемь сантиметров роста на избу, которую строили люди, о таких цифрах не слыхавшие.

— Ай, — сказала я с достоинством.

— Это дом тебя приветствует. — Дана накрылась одеялом с головой. — Ты ему понравилась. Меня он не тронул. Значит, ненавидит.

На столе, придавленная солонкой, лежала записка на обрывке серой бумаги. Почерк у Ермолая был крупный, угловатый, как у человека, который за жизнь написал немного, но каждое слово брал в руку отдельно: «Каша в печи. Я по своим делам. К закату буду. Не ходите далеко. Ермолай».

Брус с двери стоял у стены. Значит, ушёл рано, пока мы спали, а запер за собой только на засов. Это почему-то успокоило. Человек, который утром спокойно уходит по делам, не боится того, что бывает ночью.

Или давно научился делать вид.

Каша стояла в чугунке, в самой глубине печи: пшённая, томлёная, с тёмной корочкой по краям. Я заглянула, понюхала и не удержалась, отковырнула ложкой кусочек с краю. Горячо. Масляно. Чуть дымно.

— Не мучай меня, — простонала Дана, не вынимая головы из-под одеяла. — Я слышу, как ты ешь.

— Я не ем.

— Ты шевелишь ложкой. Это хуже.

Я расхохоталась. Впервые за много дней по-настоящему, а не из вежливости, и сама удивилась, как громко это вышло в тишине избы.

Ярослав сошёл с полатей так тихо, что я заметила его, только когда он уже стоял у печи. Потёр лицо ладонью, встряхнул тёмными спутанными волосами и улыбнулся. Улыбка у него была утренняя, помятая, и оттого особенно добрая.

— Доброе утро. Как ты?

— Голова болит. Потолок.

— Матица?

— Матица.

— Она всех встречает, — серьёзно сказал он. — Это обряд посвящения. Считай, тебя приняли в избу.

— А если бы не приняли?

— Тогда бы она промахнулась. — Он заглянул в ведро и нахмурился. — Воды почти нет. Пойду искать колодец.

— На крыльце бочка. Я вчера видела.

— Тогда я развожу примус. Кофе пьём на улице. Это закон природы.

Он говорил так спокойно, будто мы приехали не в чужую странную деревню, а на дачу к знакомым. И я вдруг поняла, как вчера хотела, чтобы кто-нибудь заговорил именно так.

Я вышла в сени, подняла засов, толкнула дверь. И зажмурилась.

Света было столько, что он хлынул в сени и стёр темноту. Тёплый, медовый. Было тихо и ясно, как бывает только в сентябре на северном Урале, когда лето уже передумало уходить, а осень ещё не решилась остаться.

Я стояла на верхней ступеньке в одних носках и смотрела.

Деревня лежала внизу как на ладони. Те же чёрные избы, те же ряды закрытых ставен, но под солнцем они стали другими: тёплыми, как выдержанное дерево, и каждая крыша искрилась влагой. Туман поднялся и держался над болотом белой полосой, и в нём плавали верхушки далёких елей. Пахло смолой, прелой хвоей, мокрой землёй и чуть-чуть дымом. Над соседними трубами тянулись серые столбики. Прямые, как вычерченные.

Вчера всё это было враждебным. Сегодня было просто красиво. Я смотрела и не могла поверить, что это одно и то же место.

Бочка стояла под водостоком, у самого крыльца, до краёв полная дождевой воды. Я присела, зачерпнула ладонью и плеснула в лицо. Холод обжёг так, что сонливость отлетела, как бумага с огня.

Потом я замерла. Вода успокоилась, и со дна бочки на меня посмотрела женщина.

Я не люблю смотреть на себя. Не из скромности. Просто никак не привыкну. Высокая даже на корточках, шея длинная, лицо бледное, до прозрачности, и веснушки по нему рассыпаны густо, как крошки. Рыжие кудри от дорожной сырости превратились в пружины и торчали во все стороны. Я приладила их ладонью. Они вернулись на место с упрямым пружинным звуком.

Глаза зелёные. Крупные, чуть широко поставленные, с тяжёлыми веками. Бабушка звала такие лесными и говорила, что в них всё видно, поэтому с чужими лучше смотреть в сторону. Я до сих пор так и делаю.

Я скорчила себе рожицу. Рожица ответила.

«Ну что ж, — подумала я. — Видала и хуже».

И тут всплыло бабушкино, откуда-то из глубины головы: «В воду долго не смотришь. Вода как глаз. Смотришь в неё, а она смотрит в тебя».

Я и правда смотрела дольше, чем нужно.

Встала, вытерла руки о штаны и только тогда заметила, что Ярослав стоит на пороге с котелком и двумя кружками.

— Хорошо смотришься, — сказал он без тени насмешки. — Как настоящая лесная хозяйка.

— Это комплимент?

— Это этнографическое наблюдение.

— Тогда принимаю.

Кружка обожгла пальцы горячим оловом. Кофе у Ярослава всегда был крепкий и сладкий до приторности, и всегда такой, как нужно. Я держала кружку двумя руками и думала: вот сейчас мне тепло и спокойно, как давно не было. Надолго ли...

Дана вышла следом, закутанная в одеяло и сердитая на весь мир. Светлые волосы свалились в один колтун, лицо было маленькое, бледное, с кукольными тенями под глазами. Она щурилась на солнце, как котёнок, которого вынесли из подвала.

— Это просто возмутительно, — заявила она тоненьким нежным голосом, который не умел звучать грозно ни при каких обстоятельствах. — Я хотела ненавидеть эту деревню. Я всю ночь готовилась. И что? Солнце. Птички.

— Птичек пока нет, — заметил Ярослав.

— Значит, будут. — Она взяла кружку, села на ступеньку и положила голову мне на плечо. — Мне всю ночь снились макароны. Огромные. Они слипались и смотрели на меня.

— Это к тому, что ты голодная.

— Это к тому, что я скучаю по цивилизации и общежитской плитке. — Она сделала глоток и скривилась. — Ярослав, это не кофе. Это сироп с намёком.

— Это кофе, который возвращает к жизни.

— Верни её мне обратно, я передумала.

Мы просидели так минут десять, ни о чём не говоря. Дымы над крышами медленно уходили в небо.

— Ермолай сказал не ходить далеко, — напонила я, когда кофе закончился.

— Мы не далеко. — Дана встала и поправила одеяло на плечах, как королевскую мантию. — Мы по главной улице. Единственной.

— Мы работать приехали. — Ярослав достал из рюкзака камеру. — Давайте будем людьми науки.

Начать решили с обхода. Правило простое, нас ему ещё на первом курсе учили: придя в незнакомое место, пройди его от края до края и ничего не записывай. Только запоминай. Я шла и старалась смотреть так, как смотрела бабушка: не на предмет, а рядом с ним.

Выя оказалась небольшой. Дворов двадцать, не больше, вытянутых вдоль единственной улицы, которая шла от болота вверх, к лесу, и терялась в ельнике. Жилых, как мы быстро поняли, девять. Остальные стояли пустые: заколоченные окна, бурьян, провалившиеся крыши, из которых росла молодая берёзка. Но даже в пустых избах чувствовалась странная опрятность. Ни мусора, ни разбитых стёкол. Они не выглядели брошенными. Они выглядели уснувшими.

А вот в жилых... Деревня жила. Как это ещё назвать? На верёвках сушились серые холщовые рубахи до колен. Из труб шёл дым. На подоконниках стояли банки с кислым тестом, под лавками лежали вязанки хвороста. Где-то стучал топор, глухо и размеренно. Где-то звякнуло ведро.

И каждый раз, когда мы подходили ближе, звук обрывался.

Я заметила не сразу. Сначала решила, что мне кажется. Потом увидела, как дрогнула занавеска. Как женщина в тёмном платке выглянула из калитки и тут же исчезла. Как мальчишка лет десяти, сидевший на заборе, соскользнул вниз и пропал в бурьяне без единого звука.

— Нас избегают, — шёпотом сказала Дана.

— Нас рассматривают, — поправил Ярослав. — Разница есть. Избегают, когда боятся. Рассматривают, когда решают, можно ли доверять.

— А если и то, и другое?

— Тогда они очень вежливо боятся.

Я представила, что видят они. Трое городских, в ярких куртках, с блестящей техникой, пришедшие из леса в день, когда туда никто не ходит. Пожалуй, я бы тоже не вышла здороваться...

Мы сделали то, что делает любой этнограф в таком положении. Стали вести себя как можно нелепее и безобиднее. Дана вслух восхищалась резным наличником, хотя ей было глубоко всё равно. Ярослав громко, с учебной интонацией, объяснял мне, что такое «полотенце»

в декоре фасада. Я присела у чьего-то плетня и принялась с глубокомысленным видом разглядывать петуха, которого там не было.

Сработало. Но не так, как я ждала.

Из-за плетня донеслось сдавленное фырканье, а потом хриплый насмешливый голос:

— Артисты.

На брёвнах у крайнего дома, в тени, сидел старик. Я его сразу и не заметила: он был такого же цвета, как стена. Серый, сухой, в старом ватнике, с палкой между колен. Лицо узкое, щёки впалые, брови густые, нависшие, а из-под них смотрели ясные светлые глаза.

— Доброе утро, — сказала Дана и совершенно естественно, как делала это всегда, шагнула к нему и протянула руку через низкую калитку. — Я Дана...

Старик отпрянул вместе с брёвнами.

— Руку через порог не суй, — сказал он. Не сердито. Скорее тревожно. — Через порог не здороваются. И имён не кричи.

— Простите. — Дана спрятала руку за спину. — Я не знала.

— Чего ж не знаешь, а в гости пришла? — Он помолчал, прищурился. — Прокопий я. Это можно. Прокопий и Прокопий, меня тут давно все знают.

Мы переглянулись. Ярослав, который умел разговаривать со стариками лучше всех нас, остановился за порогом и спросил, можно ли присесть рядом.

— Седай. Только на улице. В дом не зову.

— А мы и не просимся, — сказал Ярослав. — Мы изучаем традиции. Как раньше жили, какие дома, какие обряды. В Черёмуховке нам Анистья Фёдоровна рассказывала...

— Анистья, — Прокопий покивал. — Жива, значит. Крепкая баба. Она у нас от замужества, не здешняя.

— А вы здешние?

— Мы-то? — Усмешка у него вышла кривая, как трещина по стеклу. — Мы тут давно. Раньше было сто сорок дворов. Теперь девять.

Мы замолчали. Я присела на корточки рядом с Даной и принялась рассматривать его руки: узловатые, тёмные, с землёй, въевшейся в линии ладоней. Руки человека, который всю жизнь что-то делал, а теперь не знает, куда их деть.

И тут я вспомнила Нину Павловну. «Не спрашивайте, почему так делают. Спрашивайте, как делала мама».

— А как ваша матушка, — осторожно начала я, — встречала утро? Что делала, когда вставала?

Прокопий повернул голову, и светлые глаза его стали на секунду почти растерянными.

— Матушка, — сказал он. — Затемно встанет. Печь затопит. Выйдет на крыльцо, перекрестится, на трубы глянет. Всех посчитает. Тогда и завтракать садилась.

Я посмотрела на Дану.

— Вы тут надолго? — спросил Прокопий.

— Четыре дня, — сказал Ярослав. — Потом нас заберут.

— Четыре, — повторил старик. И снова так, будто считал про себя. — Ага.

Он поднялся, тяжело опираясь на палку. Я думала, уйдёт в дом. Но он остановился и сказал, не глядя на нас:

— Вы к нам с вопросами. Ладно, пусть. Только вот что. Ночью дверь не отпирайте. На улицу не выходьте. Хоть кто позовёт. Хоть я позову. Хоть мать родная.

— Нам Ермолай уже сказал, — осторожно заметил Ярослав.

— Ермолай... — Прокопий кивнул. — Ермолай человек хороший. Только человек.

И ушёл, не оглядываясь. Дверь за ним закрылась мягко, без стука.

Мы ещё постояли.

— Мне кажется, — сказала Дана шёпотом, — нас только что вежливо выставили и вежливо предупредили. И я не уверена, в каком порядке.

— В обоих, — сказал Ярослав. Он смотрел на закрытую дверь, и лицо у него было задумчивое, спокойное. — Лидия, ты записываешь?

— Записываю.

Я ещё ничего не успела. Достала блокнот и записала: *«Через порог не здороваются. Имена не кричат»*.

Подчеркнула *«не кричат»*. Подумала и подчеркнула ещё раз.

К полудню мы добрались до колодца. Он стоял в середине деревни, на площадке, где улица чуть расширялась: сруб из почерневших брёвен, журавль с длинным шестом, ведро на цепи. На лавке рядом сидели три женщины, одинаково одетые в тёмные платки и серые юбки до земли, и о чём-то тихо переговаривались. Когда мы подошли, разговор оборвался, как будто кто-то выключил радио.

— Здравствуйте, — сказала я с почтительного расстояния. — Можно воды набрать?

Женщины переглянулись. Та, что помоложе, лет сорока, с широким скуластым лицом и очень светлыми, выцветшими глазами, коротко кивнула. Остальные отвернулись.

Я взялась за шест, опустила ведро. Журавль скрипнул, цепь размоталась, и откуда-то снизу, из темноты, донёсся глухой плеск. Я потянула. Ведро пошло вверх, тяжёлое, и когда показалось над срубом, я заглянула в воду.

Вода была чёрная. Не тёмная. Чёрная, как нефть, без единого блика.

Я вспомнила бабушку и отвела глаза.

— Хорошая вода? — спросила Дана, подходя.

— Холодная, — сказала светлоглазая женщина. Первое слово, которое мы от неё услышали. — Пейте, не бойтесь. Чистая. Колодец старый.

— Как вас зовут? — Дана тут же спохватилась. — Ой. Простите. Нельзя?

Женщина впервые чуть улыбнулась. Улыбка была усталая, но живая.

— Ульяна. Можно. Вы не думайте, мы не злые. Просто... вас к нам не звали.

— Мы по разрешению районной администрации, — начала я.

— Я не про то. — Она покачала головой. — К нам давно никого не звали. Мы привыкли одни.

Одна из женщин, постарше, сухо кашлянула. Ульяна замолчала. Они поднялись разом, подхватили вёдра, коромысла и ушли вверх по улице, не оглядываясь. Только Ульяна задержалась.

— К Нюре зайдите, — сказала она негромко. — Она вас ждёт. Она всегда ждёт новеньких.

— Кто такая Нюра? — спросил Ярослав.

— Баба Нюра. — В голосе Ульяны было что-то, чего я не разобрала. Не страх и не благодарность. Что-то посередине. — Она у нас как бы хозяйка. Идите на край, где лес. Только до заката. Лучше пораньше.

И ушла.

Мы остались у колодца втроём. Ведро с чёрной водой стояло у наших ног.

— Ну вот, — сказала Дана. — У деревни есть хозяйка. Очень по-фольклорному. Хозяйка Медной горы, только без меди. И без горы. Кто-нибудь ещё чувствует, что мы вот-вот окажемся в сказке Бажова? Не в той, где каменный цветок, а в той, где плохо заканчивается?

— У Бажова всё заканчивается плохо, — сказала я. — Просто красиво.

— Вот именно.

— А я чувствую, что нам повезло. — Ярослав положил ей руку на плечо. — Хозяйка всегда лучший информант. Она знает всё.

— Кроме того, как не пугать гостей.

— Ну мы же не гости. Мы исследователи.

Он сказал это легко, с улыбкой, и Дана вздохнула и сдалась. Я смотрела на них обоих, на её светлую голову и его тёмную, и вдруг подумала: как же мне с ними хорошо. Что бы ни ждало нас в этой деревне.

И в этот самый момент я услышала.

Тишину.

Не отсутствие звуков. Тишину, плотную, как вата. Я стояла посреди деревни под ярким дневным небом и не слышала ни одной птицы. Ни воробья, ни синицы, ни вороны на заборе. Над полем, над крышами, над болотом висело пустое прозрачное небо, и ни единой чёрточки в нём.

Я хотела сказать об этом и промолчала. Вокруг было так светло, так тепло, и мне совсем не хотелось быть той, кто портит день.

После колодца мы разошлись по работам. Так бывает в экспедициях: молча, без команд, каждый находит дело и берётся за него, и от этого легче.

Ярослав остался на улице с камерой. Ходил от дома к дому, снимал наличники, придверные доски, резные подзоры под крышами, и я видела, как выпрямилась его спина и стали точными движения. Рядом с любимым делом он менялся: из мягкого, чуть усталого человека превращался в острого и сосредоточенного.

Однажды он подозвал меня и молча показал на конёк крайней избы.

— Смотри. Куда он глядит?

Резной конь на гребне, с пустыми впадинами глаз, был повёрнут мордой вниз по улице. К болоту. Ярослав кивнул на следующий. Тот же поворот. И следующий.

— Они все смотрят в одну сторону. Не на дорогу, не на лес. На болото. Или дальше.

— Что там?

— Не знаю. — Он вытер ладонью лоб. — Там Камень. Гора километров за пять-шесть, я вчера видел её сквозь туман.

— Зачем охранять от горы?

— А кто сказал, что охраняют? — Он улыбнулся уголком губ. — Может, наоборот. Присматривают.

Мы с Даной устроились на гульбище нашего дома: широкая дощатая терраса, солнце греет доски, навес прячет от слепящего света. Дана разложила на коленях листы родословных и рисовала стрелочки, кружочки, крестики. Вписывала услышанные имена и вычёркивала те, которые нельзя называть. Получалось странное дерево. Без листьев, одни стволы да ветки.

— Девять домов, — бормотала она. — Двадцать три человека, если считать по бельевым верёвкам. Детей трое. Молодых нет. Ни одной семьи, где было бы три поколения. Лид, так не бывает.

— Бывает, если они не живут вместе.

— Они все в одной деревне. Не могли разъехаться и остаться. — Она постучала карандашом по листу. — Здесь не хватает целого слоя. Дети, внуки, невестки. Куда они делись?

— Ушли.

— Куда?

Я промолчала. Дана вздохнула и откинулась на столб.

— Двадцать три. Нечётное. В сказках нечётное всегда к беде.

— В сказках к беде всё.

— Спасибо, утешила. — Она ткнула в меня карандашом. — Знаешь, что самое смешное? Я ехала сюда и думала: вот наконец-то настоящая работа. Живая деревня, живые люди. Я им покажу, что могу говорить с кем угодно. А меня вежливо выставили, и я сижу и рисую пустое дерево.

— Ты же не сдаёшься?

— Я? Нет. Я просто... — Она замялась, перебирая листы. — Просто немножко боюсь, что у меня ничего не выйдет. Вообще. Ни тут, ни потом. Все умные, а я что? Я просто люблю слушать, как люди рассказывают про своих бабушек.

Она сказала это тихо, глядя мимо меня, на дальний ельник. У неё всегда так: самое важное вскользь, между делом, с извиняющейся улыбкой, чтобы в любой момент можно было превратить всё в шутку.

Я не стала шутить.

— Это и есть вся наша наука. Слушать, как люди рассказывают про бабушек. Остальное статьи.

— Ты так говоришь, чтобы меня утешить.

— Я так говорю, потому что это правда.

Она посмотрела на меня. Глаза у неё серые, прозрачные, в них можно прочесть всё, что она думает. Как она с такими глазами умудряется быть этнографом, я до сих пор не понимаю.

— А ты никогда не боишься? — спросила она вдруг.

— Боюсь.

— Не похоже.

— Я просто не показываю.

— Это я знаю. — Дана вздохнула. — Ты, Лид, как закрытая дверь. Крепкая, добротная. Стоит и стоит. А снаружи совершенно непонятно, дома ли кто.

Я замолчала. Это было так точно и так неожиданно, что слова кончились.

— Прости, — быстро сказала Дана. — Я не хотела...

— Нет. Ты права.

Я смотрела на свои руки. Длинные пальцы, обгрызенные ногти, чернильное пятно на правом указательном. Руки, которые всегда знают, что делать, и никогда не знают, что сказать.

— Моя бабушка... — начала я и остановилась. — Я тебе не рассказывала. Ты же знаешь, что она была манси?

— Знаю.

— Она не любила говорить о своём. А когда говорила, у меня мурашки шли по спине. Она повторяла: «Не зови, и не придёт». Я до сих пор не знаю, про что это. Про кого. Но сюда я ехала не только за статьёй. Я думала: если пойму здешних, пойму и её. А выходит, чем больше слушаю, тем дальше.

Дана молча взяла мою руку и сжала. Ладонь у неё холодная, маленькая, тонкая. Странно, что такая хрупкая рука умеет держать так крепко.

— Ты ей не изменяешь, — сказала она. — Тем, что не понимаешь. Это не измена. Это просто ещё не понятно.

— Откуда ты знаешь?

— Я антрополог. — Она подняла подбородок с величайшей важностью. — Я знаю всё про бабушек.

Мы рассмеялись. Дана вытерла уголок глаза тыльной стороной ладони, встала, сходила в избу и вернулась с гребнем.

— Садись. Это невозможно. У тебя на голове птичье гнездо.

— Это кудри.

— Это стихийное бедствие.

Я села на ступеньку, Дана устроилась позади и принялась разбирать мои волосы лёгкими осторожными пальцами. Гребень цеплялся и ныл. Рыжие пряди она собирала в тугую косу, и от каждого прикосновения на затылке расходилось тепло.

— Волосы как костёр, — сказала она тихо. — Я им всегда завидовала.

— А я твоим.

— Моим? Это же вата.

— Лён. Как будто их кто-то из тумана сплёл.

— Ну спасибо. — Дана фыркнула. — Теперь буду ходить и чувствовать себя пейзажем.

Мы сидели на тёплых досках под безветренным полуденным небом, и мир казался мне очень маленьким и очень безопасным. Потом я заметила, что вновь вокруг стало необычайно тихо. Ни стука топора, ни звяканья вёдер. Даже собственное дыхание звучало слишком громко. Улица опустела. Ни одной фигуры, ни одной занавески. Деревня замерла, как зверь, который прислушивается.

— Полдень, — сказала Дана и застыла с гребнем в руке. — Это что-то про полдень, да? У восточных славян?

— Полудница. Выходит в поле в самую жару, и кто в этот час работает, у того голова разболится. Но это в поле. И она не страшная. Просто час такой.

— Час такой. — Дана вздохнула. — Самые страшные слова в этнографии.

Ярослав вернулся к трём с пустым лицом человека, который слишком долго смотрел на дерево, и принёс подарок: две горсти брусники, чёрной от сока.

— Где ты её нашёл? — удивилась Дана.

— Мальчишка принёс. Тот, что на заборе сидел. Положил у калитки и убежал.

— Наши акции растут.

— Он ещё что-то сказал. — Ярослав почесал затылок. — Одно слово. Я не разобрал. Что-то вроде «живите».

Мы с Даной переглянулись. Общим стало немного не по себе, и мы обе тут же сделали вид, что нет.

Потом Ярослав заметил, что я хромаю. Не знаю, как он это увидел. Я не жаловалась и ходила ровно. Но он молча взял мою ногу в ладони, как делают врачи, снял носок, осмотрел пятку и пожурил так тихо и нежно, что спорить стало невозможно. Из рюкзака появились аптечка, лейкопластырь и зелёнка.

— Надо было сказать. Нельзя много ходить с такой ногой.

— Я думала, пройдёт.

— Ничего само не проходит, Лидия. Это основное правило.

Он улыбнулся. У меня покраснели уши, и я отвернулась. Дана смотрела на нас с плохо скрытым весельем, а я сделала вид, что не заметила.

Вот так всё и шло днём. Тепло, медленно, как в хорошем сне. Мы разложили на крыльце блокноты и карты, пили остывший кофе, делились записями. Мне нравилось, как работает Ярослав: из кусочков он складывал картину. Мне нравилось, как работает Дана: она умела сделать так, чтобы человек рассказывал, сам не заметив. Я думала: может, мы просто накрутили себя. Может, это обычная замкнутая деревня, и ничего больше.

Вечер я встретила с лёгким сердцем.

Это было самое неправильное из всего.

Девочка пришла около пяти. Появилась у калитки бесшумно, как кошка: лет девяти, тощая, в большом платке не по росту, с косичкой, обмотанной вокруг головы. Я узнала в ней мальчишку с забора. Мальчишкой она казалась ровно до тех пор, пока не повернулась.

— Тебя зовут, — сказала она и посмотрела исподлобья.

— Кто зовёт?

— Баба Ньюра. — Девочка шмыгнула носом. — Одну. Сказала, одну.

— А нас? — спросила Дана.

— Вас не сказала.

— Ну вот, — тихо сказала Дана. — Классика. Избранная идёт одна.

— Я просто самая рыжая.

Ярослав встал и отряхнул колени.

— Я провожу. До калитки. Внутрь не пойду.

— Не надо...

— Лидия.

Он только произнёс моё имя, и я сдалась. Дана хотела пойти тоже, но девочка так отчаянно замотала головой, что её оставили на крыльце. Она проводила нас долгим взглядом и вдруг крикнула:

— Только возвращайся быстро! Я одна дрова не донесу!

— Ты и так их не носишь! — крикнул в ответ Ярослав.

— Вот поэтому и не донесу!

Мы пошли вверх по улице. Солнце клонилось к лесу, золотой свет стал тяжелее и гуще, как мёд на ложке. Тени от изб ложились поперёк дороги, длинные и ломкие. На окнах появились ставни, закрытые наполовину. Деревня потихоньку засыпала, как человек, которому ещё рано, а глаза уже слипаются.

Дом бабы Нюры стоял на самом краю, там, где улица кончалась и начинался лес, в тени двух огромных кедров. Маленькая, почти игрушечная избушка с перекошенным крыльцом и кривой трубой, из которой лениво тянулся дым. Конёк на крыше был вырезан грубо, но с глазами. Две круглые дырочки, как у птицы.

— Я здесь, — сказал Ярослав, остановившись у калитки. — Жду. Если что, зови.

— Что может случиться?

— Не знаю. — Он улыбнулся. — Но ты всё равно зови.

Я поднялась на крыльцо, толкнула дверь, и мир изменился.

Сначала запах. Плотный, пряный, горький, сразу тысяча трав, сухих, нагретых печью: полынь, пижма, зверобой, чабрец, багульник и что-то неузнаваемое. Потом тишина. Не пустая, как на улице, а населённая, какая бывает в библиотеке. И только потом глаза привыкли к полумраку, и я увидела стены.

Стены были покрыты лицами.

Сотни лиц. Они смотрели на меня с каждой доски, с каждого бревна, с каждой полки: нарисованные углём, охрой, сажей, разведённой мелом, на кусках бересты, на дощечках, на старых газетных листах, на обороте школьных тетрадей. Мужчины и женщины, старики и дети. Одни простые, как иконы, с огромными глазами. Другие почти реалистичные, точные, как фотографии. Третьи странные: у них были только глаза, или только рот, или вовсе ничего, только контур и серый туман на месте лица.

Я замерла на пороге.

— Заходи, — сказал голос из глубины. — Не стой в дверях, сквозняк.

В красном углу, где у всех висят иконы, был прибит единственный рисунок, повёрнутый лицом к стене. Я почему-то сразу решила, что смотреть на него не стоит.

Баба Нюра сидела за столом у окна и пила чай из блюдца. Крошечная. Это первое, что я увидела: маленькая, сухая, сгорбленная, похожая на птицу, закутанная в тёмную шаль. Лицо у неё было такое морщинистое, что казалось вырезанным из коры, а руки на столе большие, неожиданно сильные, с распухшими суставами. Глаза светлые, почти белые. Не слепые: они смотрели прямо на меня, живо и внимательно. Но светлые, как лёд в апреле.

— Здравствуйте. Меня...

— Не называй. — Она подняла ладонь. — Я знаю, как тебя зовут. И имя это тебе лучше беречь. Садись.

Я села на лавку напротив. Нюра налила мне из самовара, подвинула блюдце с сухарями и вареньем. Варенье оказалось брусничное, терпкое.

— Страшно тебе?

— Немного.

— Врёшь. — Она отхлебнула из блюдца. — Тебе интересно. Это хуже.

Я невольно улыбнулась.

— Вы как моя бабушка. Она тоже так говорила.

— Манси была, — сказала Нюра. Не спросила. — Чую. В тебе кровь здешняя. Она тебя издалека привела и сюда довела, хоть и не знала. Ты не думай, что сама пришла.

— Я думала...

— Все так думают.

Она замолчала и долго смотрела на меня, не мигая. В этом взгляде что-то перебирало, прикидывало, взвешивало. Так смотрит не человек на человека. Так торговка на ярмарке выбирает среди одинаковых вещей ту, что подойдёт.

— Ты мнеходишь, — сказала она наконец.

— Для чего?

— Для чая. — Нюра усмехнулась. — Пей. Остынет.

Я пила чай и разглядывала стены. Лица смотрели с каждой доски, и чем дольше я смотрела, тем яснее понимала: они не просто нарисованы. Они нарисованы с чувством. Каждое выражало одно переживание, сплошное, концентрированное: тоску, испуг, радость, усталость, любовь. Не портреты людей. Портреты того, что внутри.

— Это те, кто приходил, — сказала Нюра, проследив мой взгляд. — Давно. Не все назад ушли.

— Куда они...

— Кто куда.

В её голосе была такая тяжесть, что я не решилась спрашивать дальше.

Нюра поднялась. Двигалась медленно, с остановками, придерживаясь за стол. Я заметила, как она, думая, что я не вижу, прижала ладонь к груди и тихо, сухо закашлялась в рукав. Потом выпрямилась и снова стала собой: маленькой, твёрдой, как ножка стола.

— Я ждала вас, — сказала она. — Вчера почуяла, как вы идёте. Я их по чувству вижу. Не по лицу, не по голосу, а по тому, что в человеке. Вы шли, и я рисовала.

Она подошла к полке, взяла три продолговатые берёзовые доски и положила передо мной на стол.

На первой была девушка со светлыми волосами. Но не так, как рисуют людей: лица почти не было. Были большие, прозрачные, дрожащие глаза и тонкие линии, которые тянулись вверх, как свет, пробивающийся сквозь воду. Я узнала Дану сразу. Не по чертам, по ощущению. От рисунка шла такая нежность и такая боязнь, что мне захотелось прикрыть его ладонью.

На второй была я. Или то, что я приняла за себя: вертикальные штрихи охры и угля, густые, острые, как ветки. Рыжая бурная масса волос. И глаза, закрытые, как у спящей или у человека, который сдерживает крик. Внутри, под этими линиями, угадывалась плотная, прочная, как сруб, тёмная фигура. Не лицо. Дом.

— Ты на себя не похожа, — сказала Нюра. — И это правильно. Я не лица рисую.

Я хотела ответить, но на третьей доске увидела Ярослава.

Лицо было нарисовано отчётливо: тёмные волосы, глаза, подбородок. Узнаваемо. Но вокруг лица, по краям доски, лежали следы. Много следов стёртых линий, серых, смазанных, как будто Нюра рисовала и стирала его не раз, не два, а много. Углём поверх угля. Глаза на портрете были голубые, написанные мелом, и именно они были стёрты больше всего: мутная пелена на месте взгляда.

— Этот долго не давался, — сказала Нюра. Она смотрела на доску, не на меня. — Три раза стирала. Всё равно как-то не так. Ну да ладно. Какой есть. Всё одно не уйдёт.

— Что с ним не так?

— Ничего, — сказала Нюра слишком быстро. — Закрытый он. Бывает. Ты не думай. Все закрытые, кто что-то несёт.

— Что несёт?

— Человек несёт много. — Она отвернулась. — Бери доски. Над постелью повесь, над каждой. Кто на чём спит, над головой. Это теперь ваше. Берегите.

— Это обереги?

— Это вы, — сказала Нюра. — Когда на человека дом смотрит, ему надо знать, кто в нём. Я ему показываю: вот этот свой, вот этот, и вот этот. Не тронь.

— Кто смотрит?

Она не ответила. Вместо этого сняла с гвоздя сухие пучки, висевшие у печи, и стала плести. Грубые руки с распухшими пальцами двигались неожиданно ловко, как будто жили отдельно от тела. Полынь, потом пижма, потом колючий чертополох, красная рябина. Она вплетала красную нитку и бормотала что-то. То ли молитву, то ли счёт.

— Слушай, — сказала она, не отрываясь. — Тебе будут говорить правила. Ты их не придумывай. Не пытайся понять. Просто делай. Поняла?

— Да.

— Первое. Не отпирай. Хоть кто постучит. Хоть заплачет. Хоть на коленях просить будет. Хоть голос будет знакомый. Если дверь заперта до рассвета, значит, до рассвета заперта. Нет таких слов, чтобы её открыть.

— Первое, — повторила я.

— Второе. Не откликайся. Ни на имя, ни на голос. Тебя будут звать. Ты не отвечай. Ни вслух, ни про себя, ни «кто там», ни «я здесь». Не отвечай, как будто тебя не слышат. Как будто тебя нет. Тебя там нет.

— Где там?

— Там, где зовут. — Она бросила на меня взгляд. — Третье. Шаги не считай.

— Что?

— Шаги. Если ходят вокруг дома. Не считай. Считать нельзя. Они по твоему счёту подбираются.

— Кто они?

Нюра не ответила. Закончила плести, опустила венок на колени и подняла на меня светлые глаза.

— Огня на окне не держи, — сказала она тише. — Лучину, свечу, никакого. Печь можно. Окно нет. Огонь в окне зовёт. Как человек у костра: сразу видно. Поняла?

— Да.

— Повтори.

Я повторила. Три правила и одно запрещение, как короткое стихотворение. Нюра слушала, закрыв глаза, и когда я закончила, кивнула.

— Хорошая. Запомнила. Бабка не зря.

Она протянула мне венок. Небольшой, плотный, пахнущий горько и свежо. Я осторожно взяла его в руки. Он был тёплый.

— Повесь над окном, где спишь. Пока зелёный, ты под присмотром. Как жухнуть станет, приходи, новый сплету. Если не смогу... — Она сделала короткую паузу. — Тогда сама плести учись. Я покажу.

— А если я не смогу прийти?

— Сможешь.

— А если...

— Лидия, — сказала Нюра, и я вздрогнула, потому что она только что запретила называть имена. — Не спрашивай. Иди. Солнце низко.

Я вскочила. Окно было небольшое, и сквозь него видно, как свет на стене из жёлтого стал оранжевым. Я схватила доски, венок, поблагодарила, не помню что. На пороге обернулась. Нюра сидела за столом и смотрела на меня. Лицо у неё было серое, усталое, очень старое. И очень одинокое. Вокруг неё на стенах смотрели сотни лиц, и ни одно из них не казалось живым.

Чертовщина...

— Иди, — повторила она. — Скажи тому, что у калитки: пусть держится рядом. Рядом лучше.

Ярослав стоял у калитки, опираясь на столб, и смотрел на закат. Увидев меня, выпрямился, молча взял из рук доски и венки. Только тут я заметила, что у меня дрожат руки.

— Ты бледная.

— Я в порядке.

— Лидия.

— Правда. Всё хорошо. Нужно идти.

Он глянул на мои руки, потом на солнце, которое уже касалось вершушек елей, красное и огромное, и больше ни о чём не спросил. Только расстегнул куртку, накинул мне на плечи, не дожидаясь возражений, и мы быстро пошли вниз по улице.

Деревня изменилась. Ещё полчаса назад она была живой, пусть замкнутой. Теперь замерла. Ставни, что стояли полуоткрытыми, закрылись. Все. Ни на одном окне не осталось щели. Двери, ещё недавно подпёртые поленьями, были задвинуты на засовы. Дым из труб шёл уже не ровный, а рваный, прижатый к земле. Ни одного человека на улице. Ни одной тени.

Тени вытянулись и легли поперёк дороги, и через них приходилось переступать, как через ограды. Воздух стал холоднее. Тёплый медовый воздух дня исчез, будто кто-то выдернул пробку. А над дальним лесом, там, где за болотом стоял Камень, небо стало цвета старой меди.

Я хотела что-то сказать, но слова не шли.

И тогда я услышала бег.

Он донёсся сверху, с той стороны, где дом Нюры: тяжёлые, захлёбывающиеся шаги, топот сапог, звон железа. Ярослав обернулся первым и мягко, но крепко взял меня за локоть.

По улице бежал человек. Мужик лет пятидесяти, бородатый, в ватнике, с охапкой дров под мышкой и ведром, которое звенело на каждом шаге. Он бежал не как бегут, когда опаздывают. Он бежал, как от пожара, всем телом, согнувшись, не разбирая дороги. Лицо серое, рот открыт, глаза стеклянные. Я видела, как дёргается кадык.

Он пронёсся мимо на расстоянии вытянутой руки. Запах: пот, земля, дым и ещё что-то острое, звериное. Он нас не заметил. Он смотрел только на свой дом, до которого оставалось метров тридцать.

Солнце коснулось края леса.

Мужик упал на колено, поднялся, бросил поленья и побежал дальше налегке. Тут я заметила другое. Дверь его дома открылась. Не распахнулась, а раскрылась на узкую щель, на ширину ладони, ещё до того, как он добежал. В щели мелькнули чьи-то пальцы, тонкие, женские, втянули его внутрь, и дверь захлопнулась. Лязгнул засов. Один. Второй. Третий.

Тишина.

— Идём, — очень тихо сказал Ярослав. — Быстро. Только не бегите. Бежать нельзя.

— Почему нельзя? — выдохнула я.

— Не знаю. Просто нельзя.

Мы пошли быстрым шагом, и я заставляла себя не оглядываться. Смотрела только на крышу нашего дома. На самом краю, на фоне гаснущего неба, чернел резной конёк с глазами. Он смотрел на нас сверху вниз, и мне показалось, что во взгляде у него облегчение.

Мы добрались до крыльца, когда от солнца осталась тонкая красная нить на кромке леса. На столбике калитки лежала краюха хлеба, посоленная и свежая. «Для дороги», — вспомнила я. Интересно только, для какой.

Дана выскочила навстречу, схватила меня за руку и втянула внутрь. Дверь захлопнулась. Кто-то налёг на брус.

Это был Ермолай. Он стоял, навалившись на брус обеими руками, тяжело дыша, мокрый, серый, с налипшей на сапоги чёрной грязью. Вернулся буквально за минуту до нас.

— Опоздали, — сказал он хрипло. — Чуть.

— Мы успели, — сказала я.

— Чуть, — повторил он.

Он опустил брус в скобы, проверил, крепко ли держится, и повернулся к нам. Ни злости, ни упрёка. Только усталость, очень глубокая и очень старая. Так выглядит человек, который много лет смотрит на одну и ту же дверь.

— Ужинать будем. Потом спать.

Я рассказала им про правила за столом. Сидели при свете одной печи (лампу Ермолай погасил, едва мы вошли: «Окно не держит, а лучше без неё»), ели кашу из чугуна, чёрную от копоти и невозможно вкусную. Дана макала хлеб в масло. Ярослав разливал чай. Ермолай, не садясь, стоял у двери и прислушивался.

Я говорила негромко и ровно, как докладывают результаты. Три правила и запрещение.

Когда я закончила, Дана отложила ложку.

— То есть, — сказала она, — если ночью кто-то постучит, не открывать. Если позовёт по имени, не откликаться. Если будут ходить вокруг дома, не считать шаги. И огонь в окне не держать. Ну и бред. Кто это придумал?

— Баба Нюра. Или её бабушка. Или кто там был раньше.

— Звучит как инструкция по эксплуатации привидения. — Голос у Даны сорвался.

— Правила хорошие, — спокойно сказал Ярослав. — Простые. Это ценно: чем проще правило, тем легче его соблюдать, когда страшно.

— А когда не страшно?

— Тогда оно не нужно.

Он улыбнулся ей, и Дана, помедлив, улыбнулась в ответ.

Я выложила на стол доски с портретами и венок. Долго молчали.

— Я себя узнаю, — сказала наконец Дана. — Это совсем не я. И в то же время, господи, это я. Как она это сделала?

— По чувству. Так она сказала.

— Тогда... — Дана перевела взгляд на мою доску и тихо присвистнула. — Лид, ты тут как крепость. С закрытыми глазами. Боже. Невозможно стремно.

— Спасибо, — сухо сказала я.

— Это комплимент.

— Я знаю.

Ярослав взял свою доску, повертел, посмотрел долго и спокойно. Лицо у него ничего не выражало. Потом он улыбнулся:

— Скажите пожалуйста, меня тоже нарисовали. Только я тут какой-то размазанный.

— Она говорит, ты долго не давался, — осторожно сказала я.

— Это вполне в моём характере. — Он ответил легко. — В детстве я вообще позировать не мог.

Дана засмеялась. Он положил доску на лавку и сказал, что повесит все три сам, чтобы мы не путались. Никто не возразил. Он действительно повесил, на длинные гвозди у каждого изголовья: Дана над её лавкой, мне над лавкой у окна, себе над полатами.

Венок я прикрепила над окошком, над самой своей головой, и долго стояла, глядя, как красные ягоды качаются в тепле печи. Он был такой зелёный и свежий, что мне стало спокойнее.

— Ты теперь как Офелия, — сказала Дана, подходя сзади.

— Офелия утонула.

— Я о красоте.

Она обняла меня со спины и положила подбородок на плечо.

Ермолай подошёл к печи, подбросил поленьев. Огонь вздохнул и заглотил их. Он посидел немного на корточках, глядя в пламя, потом сказал, не оборачиваясь:

— Спите. Я здесь.

Мы легли. Не знаю, сколько прошло времени. Печь трещала всё тише, угли подёргивались серой плёнкой. Дана спала напротив, свернувшись, как ребёнок. Ярослав дышал ровно и глубоко. Ермолай сидел у двери, неподвижный, будто вырезанный из тени.

Я лежала на лавке у окна и смотрела в потолок. Сон не шёл.

Сначала я думала о Нюре, о её светлых глазах, о том, как она сказала «ты мне подходишь». Потом о Ярославе, о том, как он смотрел на свой стёртый портрет, спокойно, чуть насмешливо. Потом о бабушке. О том, как она говорила: «Не зови, и не придёт». О том, что я ни разу не спросила: а если придёт? О том, что теперь, может быть, уже поздно спрашивать.

Над головой, на краю зрения, чуть шевелился венок. Тёмное кольцо на фоне ставни.

Как же я устала. Быстрее бы домой.

Я закрыла глаза.

Открыла их оттого, что стало тихо.

Не так, как бывает тихо ночью, когда что-то скрипит, шуршит, дышит. Эта тишина была другой. Из неё вынули всё. Даже печь больше не потрескивала. Я лежала неподвижно и слышала, как в ушах бьётся кровь.

А потом в узкой щели возле окошка что-то изменилось.

Раньше там была чёрная полоска, слегка разбавленная серым: свет звёзд, пробивавшийся сквозь щель в наружном ставне. Теперь полоска стала темнее. Потом посветлела. Потом опять потемнела. Будто по ту сторону стены, в полуметре от моей головы, кто-то медленно, очень медленно прошёл мимо.

Я перестала дышать.

Шаги. Я не слышала их, пока не напряглась. Мягкие, неторопливые, как у человека, идущего по мокрой траве, и в то же время слишком ровные. Слишком одинаковые. Раз. Два. Три. Они шли вдоль стены, от угла к окну, от окна к крыльцу, потом огибали дом и пропадали за дальним углом. Потом возвращались.

Раз. Два.

Нет, подумала я. Не считай.

Три. Четыре.

Я вцепилась пальцами в одеяло. Раз... Заставила себя остановиться. Заставила смотреть в потолок, на матицу, на пучки трав, на красную нитку. Думать о печи, о каше, о чём угодно.

Шаги прошли по крыльцу. Я слышала, как скрипят ступеньки, одна за другой, но не считала. Не считала. Не считала.

Потом они остановились. Прямо под окном.

Не знаю, сколько секунд прошло. Может, одна. Может, десять минут. Полоска в щели оставалась тёмной, и мне казалось, что снаружи кто-то дышит. Неглубоко, терпеливо, внимательно. Кто-то стоял там, по ту сторону дерева, и ждал.

Венок над моей головой тихо, тонко зашуршал. Ни ветра, ни сквозняка.

И тогда в щели мелькнуло светлое.

Не лицо. Не рука. Что-то бледное, гладкое, неподвижное, слишком близкое. Оно задержалось на секунду, и я успела подумать, что уже видела такое: у слепых коньков в Верхней Гари, у деревянных лиц с чёрными дырами. Потом исчезло.

Шаги пошли дальше.

Я лежала, не двигаясь, не моргая, пока серая полоска не стала просто серой. Потом услышала, как у двери Ермолай тихо, почти беззвучно выдохнул. Он не спал. Он слышал всё. И молился.

Утром я не смогла вспомнить, сколько их было, этих шагов. Знаю только, что в какой-то момент, самый страшный, я поймала себя на том, что губы мои шевелятся. Они шептали: «...сорок один».

Из моего дневника. *Заметка на полях:*

Венок. Травы над дверью и окном: полынь, чертополох, пижма, рябина, красная нить. Классический набор. Красный цвет это цвет границы. Рябина дерево, которое «видит» нечистую силу.

Портреты. Не лица, а «дом внутри лица».

И последнее. Нюра запретила считать шаги. Я не поняла почему. Теперь, кажется, понимаю: счёт тоже имя. Тот, кто считает, называет. Тот, кого называют, откликается.

Я насчитала сорок один.

Пишу при углях печи, на ощупь, чтобы не слушать, не идут ли они снова.

Глава 6

Из тетради Стрекозы.

В сентябре партия уехала.

Я проводила их до последнего ручья. Мы шли той же лежнёвкой, что и в июне, только теперь она была в жёлтых листьях, под ногами хлюпала холодная вода, а над рямой стоял не лёгкий летний туман, а плотный, стылый, такой, что лошади входили в него, как в молоко.

Орёл шёл первым. Он единственный был доволен: люди уезжали, а значит, кончались выюки.

Игнатич всю дорогу вздыхал. Говорил, что здесь можно было бы поработать ещё сезон, но начальство, понимаете ли, начальство. Ящик с образцами, который в июне казался мне главной тайной экспедиции, ехал последним, перетянутый ремнями, как пленный. Я давно выяснила, что внутри. Камни. Просто камни, тяжёлые и звякающие, и ради них шестеро взрослых мужчин полгода ели кашу с комками.

У ручья я остановилась.

— Дальше сами.

— Стрекоза, спасибо за всё, — Игнатич вытер лысину платком. — Без вас мы бы пропали. Вы прирождённый проводник. Подумайте насчёт штатной должности. Оклад, командировочные, спецодежда.

— Спецодежда?

— Сапоги! — сказал он с гордостью.

Я посмотрела на сапоги Василия. Они стояли чуть в стороне, огромные и отмытые, как укор.

— Подумаю.

— Подумайте-подумайте.

Он полез на лошадь. Лошадь вздохнула глубже, чем он.

Василий стоял рядом с выюками. Плащ на нём давно перестал быть новым, за лето он загорел, оброс и стал похож на человека, который живёт здесь по меньшей мере год. На правой скуле белел тонкий шрам. Мы чинили мост через Чёрный ручей, и ему по лицу хлестнуло оборвавшейся верёвкой. Я ругалась полчаса. Он слушал, кивал и в конце сказал «спасибо».

За что — я не поняла до сих пор.

Мы не сказали друг другу ни слова.

То есть я собиралась. У меня было заготовлено, я ночью репетировала, глядя в потолок. Что-нибудь лёгкое, шутовское, как у людей, которым всё равно. «Пишите, если будет что писать». Или: «Не провалитесь по дороге, второй раз вытаскивать не стану».

Когда я открыла рот, там оказался только комок. Колючий, как еловая лапа.

Василий протянул руку. Я протянула свою. Он поднёс мою ладонь к губам, один раз, быстро, и тут же отпустил, будто тоже опасался, что не имеет права.

— Я вернусь до снега, — сказал он.

— Не обещайте.

— Я не обещаю. Я говорю, как будет.

Я стянула с косы красную нитку. Обыкновенную, из пряжи. Но у нас считали, что красное ведёт домой. Я схватила его за запястье, завязала нитку двойным узлом и затянула так, что он охнул.

Василий посмотрел на узел. Потом на меня.

— Я верну.

— Что вернёте?

— Нитку. Когда приеду.

— Не вернёте. Я не в долг даю.

Лицо у него сделалось растерянным. Так выглядят люди, которым сунули в руку вещь без счёта и без расписки, и они ищут, где же подвох.

— Тогда это что?

— Нитка. Красное ведёт домой. Идите уже, опоздаете.

Он пошёл. На повороте оглянулся. Я стояла у ручья и махала, пока лес не закрыл их всех.

Потом села на камень, подперла голову руками и просидела так почти час. Ничего не думая. Первый раз в жизни.

Ждать я не умела.

Это было новое ощущение, и я его ненавидела. Весь мой характер был устроен для движения. Я бегала, носилась, чинила, пекла, рисовала, мыла, таскала и перекладывала. За неделю я переколола столько дров, что мать вышла на крыльцо, посмотрела на поленницу, потом на меня и спросила, не собираемся ли мы зимовать в двух домах сразу.

— На всякий случай, — сказала я.

— На какой?

— На любой.

Мать вздохнула и ушла в избу. Она теперь часто вздыхала в мою сторону. Не сердито. Просто смотрела и вздыхала, как над печью, которая то ли разгорится, то ли нет.

Отец, ещё хромой, но уже ковылявший по двору на костылях, молчал и вырезал новую пару коньков. Глаза у них выходили особенно внимательные. Брат подсмеивался, пока я не пообещала ему, что тоже умею рисовать, и что на берёсте рисую не только лошадей.

Проня, соседский мальчишка, который последние два года таскался за мной хвостиком, вдруг пропал из виду. Зато ходил мимо нашего забора по десять раз в день и бросал на дом такие мрачные взгляды, будто дом лично его обидел. Мне было его жаль. Но не очень.

По утрам я считала дымы. Сто сорок печей, сто сорок труб. Потом шла на Чёрный ручей и смотрела на тот берег, где стояли палатки. Там остались вытоптанный круг, чёрное кострище и ржавая консервная банка. Я подняла банку и зачем-то унесла домой.

Мать спросила:

— Это что?

— Цветок будет.

Мать ничего не ответила. Но налила в банку воды и поставила на подоконник.

Пошли первые заморозки. Птицы потянулись на юг, и я смотрела им вслед, и впервые мне не хотелось лететь вместе с ними.

Это меня оскорбляло.

Однажды вечером бабка Меланья села рядом со мной на завалинке. Я не слышала, как она подошла. Она умела ходить так, что половицы молчали. Села, расправила на коленях тёмную юбку, достала клубок и принялась вязать.

— Ждёшь, — сказала она.

— Ничего не жду.

— Ждёшь. — Бабка не повернула головы. — Глаза как у собаки на цепи, когда хозяина нет.

— Бабушка!

— Говорю, как есть.

Мы помолчали. Спицы щёлкали.

— Не нашего он роду, — сказала бабка.

— Знаю.

— И глаза у него разные.

— Знаю, бабушка. Я, между прочим, тоже заметила.

— Разноглазый. — Она вздохнула, и в этом вздохе не было ни капли насмешки. — Старые люди так говорят: на двух берегах стоит. Одним глазом в наш мир смотрит, другим в тот. Такие или святыми бывают, или пропадают. Серединки не бывает.

— Ты это говоришь, чтобы меня напугать?

— Говорю, чтобы ты знала.

Бабка повернулась ко мне. В светлых глазах стояла такая усталая, такая давняя печаль, что у меня вдруг похолодели руки.

— Любить его будешь, хоть что мне скажи. Я не про то. Я про то, чтобы ты сердцем его от Камня держала. Не словами. Сердцем. Слова он не услышит.

— Почему?

— Потому что все они на него смотрят. Все городские. И все, у кого глаза разные. Камень таких любит.

Она отвернулась и снова защёлкала спицами. А я сидела рядом и думала, что в сказках, возможно, всё-таки что-то есть.

И что мне это совсем не нравится.

Он вернулся в начале октября.

Я возилась во дворе с поленницей, когда услышала фыркание. Не нашей лошади. По улице, по первому мокрому снегу, шла чужая, нагруженная мешками, а рядом с ней шагал человек. Высокий, в чужом тулупе, лицо красное от ветра, на пол-лица улыбка.

Я бросила полено.

— Я до снега, — сказал он, остановившись у калитки.

— Это уже снег.

— Вот и хорошо. Значит, успел.

Я стояла по ту сторону забора, с руками, чёрными от смолы, с растрёпанной косой, в старой отцовской телогрейке. И думала, как глупо выгляжу. А он вдруг снял шапку, опустил на одно колено прямо в слякоть и сказал:

— Я приехал просить вашей руки. По-честному, по-вашему. Если можно.

Из окна выглянула мать. Из соседнего двора высунулся любопытный нос, потом второй. Через минуту вся улица знала. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Желательно в то окно, чёрное, под водой.

И я не могла перестать улыбаться.

— Вставайте, — прошипела я. — Колено простудите.

— Ничего. Я привык.

— К простуде?

— К тому, что отказывают, — сказал он спокойно. — Это быстро проходит.

Я открыла рот. Закрыла.

Он говорил совершенно серьёзно. Без жалобы, без упрёка, как говорят о погоде. А потом полез за пазуху и достал папку.

Настоящую, картонную, перевязанную бечёвкой.

— Что это?

— Бумаги. Характеристика с места работы. Рекомендация от Игнатъича, он писал два часа. Справка из управления, что оклад постоянный. Справка о здоровье. Справка, что не судим. — Он помолчал. — На всякий случай.

— На какой?

— Если спросят.

— Василий. Это мой отец, а не комиссия.

— Я знаю. — Он посмотрел на папку, как на старого, ненадёжного друга. — Но на всякий случай.

Из этой папки, как выяснилось, можно было построить ещё один дом. Я смотрела на неё и вдруг поняла, что он ехал сюда три дня, готовясь к тому, что его выставят за ворота. Не к свадьбе. К отказу. Продумал, какие бумаги предъявить, что сказать, как не обидеться.

А про то, что его могут принять, не подумал вообще.

Мне стало жарко. И чуточку обидно, неизвестно за кого.

Отец встретил его на крыльце, опираясь на костыль, огромный и молчаливый, как кряжистый кедр. Они стояли друг против друга. Василий снял шапку второй раз и поклонился. Отец не шелохнулся.

— Ты городской, — сказал он наконец.

— Городской, — согласился Василий.

— Чего умеешь?

— Читаю камень. Чиню рацию. Могу сварить кашу так, что есть можно. — Он помолчал.

— Могу научиться всему остальному.

— Крышу покрыть?

— Научусь.

— Коня подковать?

— Научусь.

— А если не научишься?

— Тогда прошу, чтобы научили. — Василий посмотрел отцу прямо в глаза. — Я сирота, Степан Андреевич. Ничего у меня нет, кроме двух рук и головы. Но я хочу дом. Я хочу остаться. Если вы позволите, буду работать так, чтобы вам за меня не было стыдно. А если не позволите, я пойму. Только скажите сразу, чтобы я не терял вашего времени.

Я стояла у калитки и не дышала.

Отец долго молчал. Так долго, что я успела сосчитать все свои грехи и решить, какой из них назвать первым, если спросят.

— На Камень полезешь? — спросил он вдруг, не глядя.

— Нет, — сказал Василий.

— Не обещай, пока не подумал.

— Я думал. Не полезу.

Он смотрел отцу в лицо. Карий глаз его был твёрдый, спокойный, честный. А серый, светлый, холодный, чуть косил в сторону и вглядывался куда-то поверх отцовского плеча, в окно за ним, туда, где за рямой и лесом в синей дымке стоял Камень.

Я заметила это. И ничего не сказала.

— Ладно, — сказал отец. — Иди в дом. Мать чай поставит.

Василий не двинулся.

— Это согласие?

— Это чай.

— А согласие?

Отец вздохнул так, словно перед ним стоял бестолковый телёнок.

— У нас чай и есть согласие. Иначе не говорят.

Василий постоял ещё секунду. Потом кивнул, поднялся на крыльцо и вошёл в сени, и по тому, как он сгорбился, я поняла: он всё ещё ждёт, что кто-нибудь окликнет его сзади.

Никто не окликнул.

В избе он сел на самый край лавки, положил руки на колени и стал смотреть на стену. Мать поставила перед ним миску со щами, ломоть хлеба, ложку и кружку. Василий посмотрел на миску.

— Это мне?

— Нет, коню, — сказала мать.

Я приснула. Мать метнула в меня взгляд, но сама тоже еле сдержалась. Это был настоящий успех. Моя мать шутила при посторонних. Я бы записала дату в тетрадь, если бы у меня была тетрадь про такие события.

Василий съел всё. До последней крошки. Потом встал, взял свою миску, кружку и ложку и пошёл мыть.

— Сядь, — сказала мать.

— Я быстро.

— Сядь, говорю. У нас гость не моет.

— Я не гость.

Мать посмотрела на него долгим взглядом.

— Тогда тем более сядь, — сказала она. — Хозяйкой тут я.

Василий вернулся на лавку. Сел ровно, как в приёмной. Всё в нём говорило: я расплачусь. За хлеб, за чай, за место, за то, что дышу в вашей избе. Заранее и с запасом.

Мне хотелось взять его за шиворот и встряхнуть. Но я только придвинула к нему блюдце с вареньем и сказала:

— Ешь. Не бойся. Не отравлено.

— Я не боялся.

— Врёшь.

Он посмотрел на меня. И неожиданно улыбнулся. Не той улыбкой, которой заранее извиняются, а настоящей, с ямочкой.

— Вру, — согласился он.

Вот тогда я и решила, что выйду за него замуж.

Не из-за папки с бумагами. Из-за «вру».

Расписываться мы поехали в Ивдель.

Это было целое путешествие. Два дня верхом до лесопункта, потом попутная «полуторка», кузов с мешками овса и лежнёвка, которая подбрасывала нас, как мячик. Я сидела в тулупе, прижав к груди узелок, и смотрела на мир, которого никогда не видела. Лес редел. Появились телеграфные столбы, и я трогала их взглядом, как трогают чужую вещь, не веря. Потом показались дома: большие, кирпичные, с железными крышами. Потом улицы. Потом огни.

Я никогда не видела столько огней сразу.

В Ивделе электричество горело на каждом столбе. Лампочки висели без абажуров, голые, жёлтые, как маленькие луны на проводах. Люди шли мимо в пальто и шляпах, с портфелями, и никто не здоровался. Поначалу я испугалась. Потом поняла, что это не злость. Это свобода. Здесь никто ни за кем не присматривал. Можно было выйти на улицу в чём угодно, и никто не скажет «ой, видали».

— Нравится? — спросил Василий.

Я кивнула. Говорить не получалось.

Он смотрел не на огни. Он смотрел на меня, как смотрят на человека, который вот-вот получит то, чего долго хотел, и боялся спугнуть.

Нас расписали в маленькой конторе на втором этаже, в комнате с портретом, красной скатертью и пыльной геранью в горшке. Заведующая, полная женщина в очках, равнодушно перекладывала бумаги. Василий выложил на стол свою папку и начал её развязывать.

— Что это? — спросила заведующая.

— Характеристика, справка о здоровье, рекомендация, справка о том, что не судим...

— Товарищ, — сказала заведующая, не поднимая головы, — вы женитесь, а не в разведку идёте. Паспорт дайте.

Василий замер с развязанной бечёвкой в руке. Вид у него был такой, словно ему дали огромный подарок, а он готовился к драке.

Когда заведующая дошла до моей справки из сельсовета, она прочла вслух моё имя. Ровно, без выражения, как читают список. Настоящее. Полное. То самое, которое я столько месяцев прятала.

Василий вздрогнул.

Я видела, как он на секунду закрыл серый глаз. Но не повторил. Не пробовал на вкус, не посмотрел на меня победителем. Просто сжал губы и уставился в стол, будто ему только что сообщили что-то, чего он не имеет права знать.

Заведующая поставила печать, шлёпнула бумагой по столу и сказала: «Поздравляю, молодцы», так, словно объявляла начало обеденного перерыва.

На лестнице Василий остановился возле окна с пыльной геранью.

— Можно? — сказал он.

— Что можно?

— Имя. Я слышал. — Он смотрел на свои сапоги. — Я не стану, если нельзя. Совсем не стану. Никогда. Ты только скажи.

Я смотрела на него и не знала, смеяться или стукнуть его папкой по голове.

— Василий. Нам только что поставили печать.

— Я знаю.

— Тебе теперь можно всё, что не вредит здоровью.

— А что вредит?

— Узнаешь. Говори уже.

Он поднял голову. Назвал.

Тихо, осторожно, пробуя, как пробуют незнакомую ягоду, не зная, сладкая она или кислая. И посмотрел на меня.

— Вот ты какая.

Я ждала, что мне будет страшно. Я всю жизнь знала: имя дверь. Откроешь, и кто-нибудь зайдёт. Но слово в его устах звучало совсем не опасно. Оно звучало, словно всегда принадлежало ему и просто дожидалось, когда он придёт.

— Теперь знаешь, — сказала я.

— Теперь знаю.

— Только не при чужих.

— Хорошо.

— И не злоупотребляй.

— Не буду.

Он согласился так быстро, что я заподозрила: он согласился бы на что угодно. Хотя никогда больше не открывать рта. И мне вдруг захотелось сказать: «Нет, ты не понял, я пошутила, говори, сколько хочешь».

Но я промолчала. Потому что поняла: он не понял бы. Ему пока было проще верить в запреты, чем в разрешения.

Вечером мы пошли в кино.

Там было полно народу, пахло махоркой и сырой шерстью, скрипели деревянные скамьи. Показывали новую картину, о ней все говорили. Я сидела рядом с Василием, держала его за руку, и когда на экране девушка бежала по перрону, и ветер рвал её платок, и поезд уходил, и она не успела, я заплакала. Неожиданно для себя. В голос, как не плакала с детства.

— Что ты? — зашептал Василий и принялся шарить по карманам.

— Не знаю. Мне просто жалко.

— Кого?

— Всех, — сказала я. — Всех, кто не успел.

Он наконец нашёл в кармане бумагу и торжественно протянул мне.

Это была справка о здоровье.

Я посмотрела на неё. Потом на него. И заревела ещё сильнее, теперь уже от смеха, так что на нас стали оглядываться и шикать, а Василий сидел с лицом человека, который сделал всё правильно и не понимает, почему не помогло.

— Это лучшее, что мне давали в жизни, — прошептала я.

— Справку?

— Тебя.

Он покраснел до ушей. Обнял меня за плечи и держал, пока не зажгли свет.

Мы шли по ночному городу. Я скользила по мокрому тротуару, под жёлтыми фонарями, глазела на витрины, на проходящие машины, на людей. Мне хотелось запомнить всё: как пахнет бензин, как лязгает тележка, как блестит мостовая. И вдруг, на углу возле киоска с папиросами, Василий остановился.

— Анечка, — сказал он.

Я вздрогнула. Он назвал меня ласково, по-домашнему, как называла только мать. Он взял это из моего имени и сделал меньше, мягче, как берут горячий хлеб, чтобы не обжечься.

— Что?

— Хочешь, поедem в Свердловск?

Я не поняла.

— Я напишу заявление. Мне уже предлагали место в управлении. Будем жить в городе. Там кино каждый день, там есть море... то есть не море, а водохранилище, но почти. — Он смотрел на меня внимательно, серьёзно. — Я вижу, как ты на всё это смотришь. Я не хочу, чтобы ты потом жалела. Что я увёз тебя из дома, а ты хотела совсем другого. Если скажешь «поехали», поедem. Завтра, послезавтра, когда захочешь.

Он говорил так, как говорят люди, которые готовы услышать «нет» и заранее решили не обижаться.

Я стояла и смотрела на него. На высокого, смешного, мокрого от дождя человека, который стоял посреди чужого города и предлагал мне ту жизнь, о которой я мечтала всю свою. И понимала, что не могу ответить сразу.

— А зимовка? — спросила я.

— Что?

— Тебе же дали зимовку. У Камня. Игнатъич говорил. Ты там будешь искать свои хрустали.

Он помолчал.

— Дали. Но я могу отказаться.

— Не хочешь?

— Хочу. — Он усмехнулся, смущённо, как мальчишка. — Это моя работа. Хрусталь там есть, я чувствую. И если я найду...

— Тогда у тебя будет дом, — сказала я. — Настоящий. С печкой.

— Да.

— Тогда зимуем.

Он посмотрел на меня.

— Ты уверена?

— Нет, — честно сказала я. — Но я так хочу. Один год. А потом поедem к морю.

— К морю, — серьёзно повторил он.

— К настоящему.

— К настоящему. — Он прижал мою ладонь к своей щеке. — Обещаю.

Я улыбнулась. Мне было тепло, хотя шёл дождь. Я думала, что это самый свободный выбор в моей жизни. Что я решаю сама. Что я возвращаюсь домой, потому что хочу, а не потому, что должна.

Я не заметила, что он пообещал не то, что я просила.

Он обещал море. А я просила, чтобы он не лез на Камень.

В деревню мы вернулись за неделю до свадьбы, и тут началось такое, чего я не ждала.

К нашему дому потянулись люди.

Они шли с утра до вечера. Лукерья принесла полотенце, вышитое петухами. Тётка Дарья с того конца улицы поставила на лавку подушку. Две сестры Рябовы притащили чугунок, большой и очень тяжёлый, и сказали, что он «пока ничей, а потом ваш». Дед Прохор вручил Василию нож и объяснил, что нож нужно не просто носить, а носить с уважением. Кто-то принёс мешок муки. Кто-то курицу. Курица не одобряла происходящее и сразу же попыталась улететь.

Василий стоял посреди двора, окружённый подарками, как человек в осаде.

Вечером я застала его на завалинке. Он сидел с блокнотом на коленях и что-то старательно записывал.

— Ты что делаешь?

— Пишу, кто что принёс.

— Зачем?

— Чтобы отдать.

— Что отдать?

— Всё. Когда смогу. — Он поднял на меня лицо. Очень серьёзное. — Это же в долг. Я должен знать, кому и сколько.

Я села рядом. Постояла в тишине, глядя на блокнот.

— Василий. Это не в долг.

— А что?

— Подарки. Просто так.

— Просто так не бывает.

— У нас бывает.

— Нет, — упрямо сказал он. — Так не бывает. Всегда что-нибудь нужно взамен.

Я забрала у него блокнот и перелистнула. Страницы были исписаны мелким, ровным, аккуратным почерком. Лукерья — полотенце. Рябовы — чугунок. Прохор — нож. А внизу, отдельной строкой, он записал: «Меланья (бабка Стрекозы) — ничего не принесла. Выяснить, не обижена ли».

Меня что-то царапнуло в горле.

— Она ничего не принесла, — медленно сказала я, — потому что отдала тебе меня. Это и есть её подарок.

Он молчал.

— Записывай как хочешь, — сказала я. — Только потом не удивляйся, что отдавать нечего. Они не ждут. Они просто так.

— Я не умею, — тихо сказал он. — Просто так.

— Научишься.

— А если нет?

— Тогда будем учить тебя всей деревней. Предупреждаю: у нас педагоги упрямые.

Он засмеялся. Короткий, неуверенный смех, как у человека, который перекинул ногу через порог и ещё не знает, можно ли переступить.

Следующим пришёл Проня.

Он встал у калитки, руки в карманах, плечи набычены, и смотрел на Василия так, будто хотел съесть его, а потом подумал, что невкусно.

— Я тебя не люблю, — сказал Проня.

— Понятно, — сказал Василий.

— Она раньше со мной ходила.

— Не ходила, — сказала я.

— Ходила!

— Проня, мы вместе один раз ходили за грибами. Вдвоём с твоей мамой и четырьмя коровами.

— Всё равно!

Василий вдруг расправил плечи. Я смотрела на него и не верила: он выглядел почти довольным. Как человек, которого наконец-то встретили так, как он ожидал.

— Вы меня правильно не любите, — сказал он Проне. — Я бы тоже себя не любил на вашем месте. Но предупреждаю заранее: я не уйду.

— Ещё чего.

— Вот и хорошо. Значит, мы друг друга поняли.

Проня открыл рот, закрыл, махнул рукой и пошёл прочь, бормоча что-то про городских. Василий посмотрел ему вслед с лёгкой, тёплой улыбкой.

— Тебя радует, что он на тебя злится? — спросила я.

— Это честно. — Василий задумался. — С честным проще. Знаешь, на что отвечать.

А потом добавил совсем тихо, не мне, а себе:

— Это я понимаю.

Я долго стояла у калитки. И думала, что надо бы научить его другому. Только как? Он привык, что человек сначала должен доказать: нужен. А потом, может быть, и получит чай.

Накануне свадьбы меня повели в баню.

Это называется «девичник», и я его боялась. Собрались все: подружки, тётки, соседки, бабки и мать, которая весь день ходила с красными глазами и ругала меня по любому поводу. Лукерья заявила, что в мои годы она уже троих родила. Тётка Дарья ответила, что в её годы Лукерья ещё сама под стол пешком ходила. Мать велела обеим замолчать, потому что «невесту смущаете», хотя невеста их, по правде говоря, слушала с огромным удовольствием.

В бане было жарко, пахло берёзовым веником, от ковшей поднимался пар. Меня усадили на лавку, развязали платок, и бабка Меланья взяла в руки гребень.

Она расплетала мне косу.

Коса была длинная, тяжёлая, толстая, с мужскую руку. Я не стригла её никогда. Бабка размотала красную ленту, и волосы упали на плечи чёрной рекой. Женщины вокруг запели.

Я не слушала слов. Знала с детства. Причитания, длинные, тягучие, жалобные, и я должна была плакать: так положено. Невеста плачет, прощается с девичеством, с волей, с отцовским домом.

Прощай, воля моя вольная, прощай, коса моя девичья, не расплетёт тебя больше матушка, не заплетёт тебя больше сестрица...

Я сидела, опустил голову. Мне было смешно.

Какая воля? Я мечтала уехать, а теперь выхожу замуж за человека, который обещал, что мы уедем. Какое тут прощание? Невеста должна выть, а я давилась смехом, и Лукерья толкнула меня локтем в бок и шепнула: «Поплачь хоть для приличия».

— Не получается, — прошептала я.

— Подумай о чём-нибудь грустном.

— О чём?

— О Проне.

Я прыснула, и мать с другого конца бани грозно сказала «Стрекоза!», и я притихла.

А потом бабка Меланья взяла мои волосы в руки, разделила надвое и заплела в две косы. Не в одну, а в две, как заплетают замужних. И в этот самый миг кто-то в бане тихонько вздохнул. Коротко, шелестяще. И этот вздох вдруг поднял изнутри что-то огромное и горячее.

Я заплакала.

По-настоящему. Навзрыд. Я плакала, и подружки плакали вместе со мной, и мать рыдала в голос, и бабки подпевали, а я никак не могла остановиться. Потому что вдруг поняла: дело не

в воле. Дело в том, что всё это кончается. Моя тесная, шумная, неудобная жизнь, где все знают всех и считают дымы по утрам. Она была плохая, она давила. И она была моя. Другой не будет.

Бабка Меланья прижала меня к себе. Сухая, тёплая, пахнувшая травами. И шепнула на ухо, так тихо, чтобы слышала только я:

— Береги его, Анечка. Береги. Он на двух берегах стоит.

— Знаю, — выдохнула я.

— Не знаешь. Но научишься.

Она отстранилась, вытерла мне лицо краем платка и достала из-под лавки венки.

Он был большой, плотный, ярко-зелёный, свежий. Бабка плела его три дня, никому не показывая. Полынь, пижма, колючий чертополох, красная рябина, и всё это перевито красной нитью, обвивающей венок, как жилка. Пахло горько и свежо.

— Невестин, — сказала бабка. — Наденешь завтра. А потом повесишь над кроватью, над окошком.

— Зачем?

— Затем. — Она надела венок мне на голову и поправила. — Пока он зелёный, стоит ваш дом. Как пожухнет, приходи ко мне, новый сплету. Поняла?

— Поняла.

— Повтори.

— Пока зелёный, стоит наш дом, — послушно сказала я. — Как пожухнет, приходите.

— Умница. — Бабка Меланья улыбнулась, и лицо её на секунду стало совсем молодым.

— Красивая ты у меня. Вся в мать.

Я не знала тогда, что слышу эти слова в последний раз.

Свадьба была шумной.

Столы стояли в избе, и за ними сидели все сто сорок дворов, кроме тех, кто не поместился и пел во дворе. Пахло пирогами с капустой, жареным гусем и брусничным квасом, и ещё чем-то покрепче, что дед Прохор припрятал со времён войны и теперь выставил на стол с видом человека, жертвующего государству золотой запас.

Жених сидел рядом со мной красный, счастливый и растерянный, в белой рубахе, которую ему сшила моя мать, потому что своей у него не было. Он почти ничего не ел. Сидел прямо, смотрел то на гостей, то на дверь, и я видела: он всё ещё ждёт. Что войдёт кто-нибудь и скажет: «Это ошибка. Вам тут не место».

Никто не входил. Все только кричали «горько» и стучали кулаками по столу.

Когда пришла пора говорить, меня толкнули в бок, и Василий встал. Он держал кружку обеими руками, как держат что-то очень хрупкое. Помолчал. Откашлялся.

— Я... хотел поблагодарить, — сказал он. — Всех. За то, что вы... не возражали.

Гости на мгновение замолкли.

— Чего возражать-то? — громко удивился дед Прохор. — Хорошая девка. Не девка, а гроза. Кому такую ещё нужно?

Хохот поднялся до потолка. Мать закрыла лицо передником. А Василий стоял с кружкой в руках и смотрел на стол, где никто не гнал его, никто не презирал, и на лице у него было такое изумление, словно он наблюдал фокус и никак не мог догадаться, где спрятана карта.

Потом сел и осторожно, как будто разрешение было временным, взял с блюда кусок пирога.

Игнатич прислал телеграмму. Один из геологов, молодой, с торчащими ушами, прочёл её вслух, и все хохотали: в ней было сорок слов и ни одной запятой.

А потом случилось странное.

Второй геолог, привёзший приёмник, встал и сказал, смущаясь:

— Простите, товарищи. Мы там, на станции, услышали. Хочу вам показать.

Он положил на стол чёрный ящик, покрутил ручку. Зашипело, затрещало. Гости притихли. Из шума выплыл тоненький, чистый, дрожащий писк.

Бип. Бип. Бип.

— Что это? — спросил кто-то.

— Спутник, — сказал геолог. — Советский. Он вокруг Земли летит. Первый в истории.

Мы молчали. Я слушала этот тонкий писк и не могла понять, что чувствую. Люди запустили в небо звезду. Звезду, которая пищит. За окнами стояла чёрная, стылая ночь, и в ней где-то далеко, над нашими головами, над Камнем, над лесом, летел новый, придуманный человеком огонёк.

— Вот и в небо влезли, — сказал дед Прохор. Он встал, перекрестился, и в голосе его слышалось не восхищение, а осторожность. — Куда ж дальше-то?

— А под землю, дед, — весело сказал геолог. — Теперь и под землю.

За столом пронёсся недовольный шёпот. Я заметила, как у бабки Меланьи, сидевшей напротив, застыло лицо. Она медленно, очень медленно опустила кружку на стол и сказала в наступившей тишине:

— В небо влезут, а под землю не надо.

— Почему, бабушка? — спросил геолог, всё ещё улыбаясь.

Она посмотрела на него светлыми, пустыми глазами.

— Потому что там уже кто-то есть.

Тишина.

Потом кто-то нервно засмеялся. Кто-то крикнул «горько», и все подхватили, и я видела, как Василий, опустив голову, улыбается. Но серый его глаз, чуть светлее другого, смотрит не на меня. Он смотрит в окно. В ночь. На чёрную стену Камня, которую в темноте нельзя было разглядеть и которая стояла там, как стояла всегда.

Я взяла его за подбородок и повернула к себе.

— Эй, — сказала я шёпотом. — Ты где?

— Здесь.

— Точно?

— Точно. — Он поцеловал меня. — Прости. Задумался.

— Не думай. Сегодня нельзя.

— Не буду, — пообещал он.

И он не думал. До утра.

Когда гости разошлись, мы вышли на крыльцо.

Ночь была холодная, прозрачная, звёздная. Лежал первый настоящий снег, голубой в лунном свете, и на нём ни следа, ни единой тропинки. Дома стояли тихие, чёрные, с погасшими окнами, и над каждой крышей чернел конёк: острый, резной, зрячий.

Василий обнял меня сзади, укрыл полой тулупа, и я прижалась к нему спиной.

— Смотри, — сказал он тихо.

Он указывал вверх. Там, среди неподвижных звёзд, медленно, ровно двигалась одна маленькая светлая точка. Она не мигала. Она плыла по небу, как светлячок над тёмной водой, и в этом движении было что-то такое спокойное, такое нездешнее, что у меня перехватило дыхание.

— Это он? — спросила я.

— Не совсем. — Василий засмеялся мне в волосы. — Это ракета, которая его вынесла. Сам он слишком маленький, не видно. Но она тоже летит. Видишь?

— Вижу.

— Люди это сделали, — сказал он. — Просто люди. Представляешь? Скоро не останется ничего неизвестного.

Я смотрела на светлую точку. На небо. На снег, на дома, на эту тишину.

— Мне хватит и того, что известно, — сказала я.

— Правда?

— Правда. Мне больше ничего не надо.

— Мне тоже, — сказал он, и в голосе его слышалось лёгкое удивление. — Это самое странное. Мне тоже.

Мы стояли так долго, пока не замёрзли. Потом ушли в дом, в нашу комнату, где на стене над окошком висел бабкин венок, зелёный, влажный, пахнувший горько и свежо, и закрыли за собой дверь.

Утром я проснулась раньше всех. Тихо, чтобы не разбудить мужа, выскользнула из-под одеяла, накинула платок и вышла на крыльцо. Рассвет только начинался. Небо было бледное, перламутровое, снег розовел. Над Камнем стелился белый туман.

Я посчитала дымы.

Один, два, три. Над крышами поднимались ровные серые столбики, тонкие, как нитки. Я считала их, как считала всю жизнь, не думая, машинально, шевеля губами. Сто тридцать восемь. Сто тридцать девять. Сто сорок.

Все целы.

Я постояла, глядя на деревню. На знакомые крыши, на снег, на дым. На нашу улицу, по которой я сто раз бегала босиком. И вдруг подумала: «Господи, как хорошо».

Потом вернулась в комнату и проверила венок.

Он висел над окном. Зелёный.

Я постояла. И проверила ещё раз.

Зелёный. Оба раза.

Гла

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.